

80

185-1

V $\frac{20}{83}$

Г Э Ф Ф И
ОМТОРИСТИЧЕСКИ
РАЗСКАЗЫ



ИЗД. ШИЛОВНИКЪ СЪВ. А.

1180/83
Т Э Ф Ф И

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ
РАЗСКАЗЫ



ИЗД. ШИПОВНИКЪ СПБ. 29





U 80
83
Н. А. ТЭФФИ.

ЮМОРИСТИЧЕСКІЕ РАЗСКАЗЫ

КНИГА ПЕРВАЯ.

ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.



3782

(N.)

ИЗД. «ШИПОВНИКЪ», СПБ.

И. А. Тарасов

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ

РАБОТНИК

КНИЖНИЙ ЗАВЯЗКА

ИЗДАНИЕ ЗАКАЗЫВАЕТ



2007097496

2—9, 11—12 л.л. напечатаны въ
типографіи Т-ва „Екатерингоф. Печатное дѣло“,
СПБ. Екатеринг. пр., 10—19,

а

1, 10, 13 и 14 л.л. напечатаны въ
типографіи В. Андерсона и Г. Лойдянскаго, Вознесенскій пр., 53.

„... Ибо смѣхъ есть радость, а
по сему самъ по себѣ—благо“.

Спиноза „Этика“ часть VI
Положеніе XLV схолія II.

... the other side of the ...
... the ...

London, ...
New York, ...

ВЫСЛУЖИЛСЯ.

У Лешки давно затекла правая нога, но онъ не смѣлъ перемѣнить позу и жадно прислушивался. Въ корридорчикѣ было совсѣмъ темно, и черезъ узкую щель пріотворенной двери виднѣлся только ярко освѣщенный кусокъ стѣны надъ кухонной плитой. На стѣнѣ колебался большой темный кругъ, увѣнчанный двумя рогами. Лешка догадался, что кругъ этотъ ничто иное, какъ тѣнь отъ головы его тетки съ торчащими вверхъ концами платка.

Тетка пришла навѣстить Лешку, котораго только недѣлю тому назадъ опредѣлила въ «мальчики для комнатныхъ услугъ», и вела теперь серьезные переговоры съ протезировавшей ей кухаркой. Переговоры носили характеръ непріятно-тревожный, тетка сильно волновалась и рога на стѣнѣ круто поднимались и опускались, словно какой-то невиданный звѣрь бодалъ своихъ невидимыхъ противниковъ.

Разговоръ велся полнымъ голосомъ, но на патетическихъ мѣстахъ падалъ до шопота, громкаго и свистящаго.

Предполагалось, что Лешка моетъ въ передней

барынины калоши. Но, какъ извѣстно, — человѣкъ предполагаетъ, а Богъ располагаетъ, и Лешка съ тряпкой въ рукахъ подслушивалъ за дверью.

— Я съ самаго начала поняла, что онъ растяпа, — пѣла сдобнымъ голосомъ кухарка. — Сколько разъ говорю ему: коли ты, парень, не дуракъ, держись на глазахъ. Хушь дѣла не дѣлай, а на глазахъ держись. Потому — Дуняшка оттираетъ. А онъ и ухомъ не ведетъ. Давеча опять барыня кричала — въ печкѣ не по мѣшалъ и съ головешкой закрылъ.

Рога на стѣнѣ волнуются, и тетка стопетъ, какъ волова арфа:

— Куда же я съ нимъ дѣлусь? Мавра Семеновна! Сапоги ему купила, не пито, не ѣдено пять рублей отдала. За куртку за передѣлку портной, не пито, не ѣдено, шесть гривенъ содралъ...

— Не иначе, какъ домой отослать.

— Милая! Дорѣга-то, не пито, не ѣдено, четыре рубля, милая!

Лешка, забывъ всякія предосторожности, вздыхаетъ за дверью. Ему домой не хочется. Отецъ обѣщалъ, что спустить съ него семь шкуръ, а Лешка знаетъ по опыту, какъ это непріятно.

— Такъ вѣдь выть-то еще рано, — снова поетъ кухарка. — Пока что никто его не гонить. Барыня только пригрозила... А жилецъ, Петръ Дмитричъ-то, очень заступається. Прямо горой за Лешку. Полно вамъ, говоритъ, Марья Васильевна, онъ, говоритъ, не дуракъ, Лешка-то. Онъ, говоритъ, форменный адеотъ, его и ругать нечего. Прямо-таки горой за Лешку.

— Ну, дай ему Богъ...

— А ужъ у насъ, что жилецъ скажетъ. то и свято. Потому человекъ онъ начитанный, платитъ аккуратно...

— А и Дуняшка хороша! — закрутила тетка рогами. — Не пойму я такого народа — на мальчишку ябеду пущать...

— Истинно! Истинно. Давеча говорю ей: «иди двери отвори, Дуняша» — ласково, какъ по-доброму. Такъ она мнѣ какъ фыркнетъ въ морду: «Я, грить, вамъ не швейцаръ, отворяйте сами!» А я ей тутъ все и выпѣла. Какъ двери отворять, такъ ты, говорю, не швейцаръ, а какъ съ дворникомъ на лѣстницѣ цѣловаться, такъ это ты швейцаръ. Да барыниными духами духариться, такъ это ты все швейцаръ...

— Господи помилуй! Съ этихъ лѣтъ до всего до шпионивши. Дѣвка молодая, жить бы да жить. Одного жалованья не пито, не...

— Мнѣ что? Я ей прямо сказала: какъ двери открывать, такъ это ты не швейцаръ. Она, вишь, не швейцаръ! А какъ отъ дворника подарки принимать, такъ это она швейцаръ. Да жильцову помаду...

Трррр... затрещалъ электрическій звонокъ.

— Лешка-а! Лешка-а! — закричала кухарка. — Ахъ ты, провались ты! Дуняшу услали, а онъ и ухомъ не ведетъ.

Лешка затаилъ дыханіе, прижался къ стѣнѣ и тихо стоялъ, пока, сердито гремя крахмальными юбками, не проплыла мимо него разгнѣванная кухарка.

— Нѣтъ, дудки, — думалъ Лешка, — въ деревню не поѣду. Я парень не дуракъ, я захочу, такъ живо выслужусь. Меня не затрешь, не таковскій.

И, выждавъ возвращенія кухарки, онъ рѣшительными шагами направился въ комнаты.

— Будь, грить, на глазахъ. А на какихъ я глазахъ буду, когда никого никогда дома нѣтъ.

Онъ прошелъ въ переднюю. Эге! пальто виситъ—жилецъ дома.

Онъ кинулся въ кухню, и вырвавъ у оторопѣвшей кухарки кочергу, помчался снова въ комнаты, быстро распахнулъ дверь въ помещеніе жилья и пошелъ мѣшать въ печкѣ.

Жилецъ сидѣлъ не одинъ. Съ нимъ была молоденькая дама, въ жакеткѣ и подъ вуалью. Оба вздрогнули и выпрямились, когда вошелъ Лешка.

— Я парень не дуракъ, — думалъ Лешка, тыча кочергой въ горящія дрова. — Я те глаза замозолю. Я те не дармоѣдъ—я все при дѣлѣ, все при дѣлѣ!..

Дрова трещали, кочерга гремѣла, искры летѣли во все стороны. Жилецъ и дама напряженно молчали. Наконецъ Лешка направился къ выходу, но у самой двери остановился и сталъ озабоченно разсматривать влажное пятно на полу, затѣмъ перевелъ глаза на гостыни ноги и, увидѣвъ на нихъ калоши, укоризненно покачалъ головой.

— Вотъ, — сказалъ онъ съ упрекомъ, — наслѣдили! А потомъ хозяйка меня ругать будетъ.

Гостыя вспыхнула и растерянно посмотрѣла на жильца.

— Ладно, ладно, иди ужъ,—смущенно успокаивалъ тотъ.

И Лешка ушелъ, но ненадолго. Онъ отыскалъ тряпку и вернулся вытирать полъ.

Жильца съ гостьей онъ засталъ молчаливо. Скло

ненными надъ столомъ и погруженными въ созерцаніе скатерти.

«Ишь устались, — подумалъ Лешка, — должно быть пятно замѣтили. Думаютъ, я не понимаю! Нашли дурака! Я все понимаю. Я какъ лошадь работаю!»

И, подойдя къ задумчивой парочкѣ, онъ старательно вытеръ скатерть подъ самымъ носомъ у жильца.

— Ты чего?—испугался тотъ.

— Какъ чего? Мнѣ безъ своего глазу никакъ нельзя. Дуняшка, косой чортъ, только ябеду знаетъ, а за порядкомъ глядѣть она не швейцарь... Дворника на лѣстницѣ...

— Пошелъ вонъ! Идіотъ!

Но молоденькая дама испуганно схватила жильца за руку и заговорила что-то шопотомъ.

— Пойметъ... — разслышалъ Лешка, — прислуга... сплетни...

У дамы выступили слезы смущенія на глазахъ, и она дрожащимъ голосомъ сказала Лешкѣ:

— Ничего, ничего, мальчикъ... Вы можете не за-
творять двери, когда пойдете...

Жилецъ презрительно усмѣхнулся и пожалъ плечами.

Лешка ушелъ, но, дойдя до передней, вспомнилъ, что дама просила не запираить двери и, вернувшись, открылъ ее.

Жилецъ, какъ пуля, отскочилъ отъ своей дамы.

«Чудакъ, — думалъ Лешка, уходя. — Въ комнатѣ свѣтло, а онъ пугается!»

Лешка прошелъ въ переднюю, посмотрѣлся въ

зеркало, помѣрилъ жильцову шапку. Потомъ прошелъ въ темную столовую и поскребъ ногтями дверцу буфета.

— Ишь, чортъ несоленый! Ты тутъ цѣлый день, какъ лошадь работай, а она знай только шкапъ запираетъ.

Рѣшилъ идти снова помѣшать въ печкѣ. Дверь въ комнату жильца оказалась опять закрытой. Ленка удивился, однако вошелъ.

Жилецъ сидѣлъ спокойно рядомъ съ дамой, но галстукъ у него былъ на боку, и посмотрѣлъ онъ на Лешку такимъ взглядомъ, что тотъ только языкомъ прицелкнулъ:

— Что смотришь-то! Самъ знаю, что не дармоѣдъ, сложа руки не сижу

Уголья размѣшаны и Лешка уходитъ, пригрозивъ что скоро вернется закрывать печку. Тихій полустонъ-полувздохъ былъ ему отвѣтомъ.

Лешка пошелъ и затосковалъ: никакой работы больше не придумаешь. Заглянулъ въ барынину спальню. Тамъ было тихо-тихо. Лампадка теплилась передъ образомъ. Пахло духами. Лешка влѣзъ на стулъ, долго разсматривалъ граненую розовую лампадку, истово перекрестился, затѣмъ окунулъ въ нее палецъ и помаслилъ надо лбомъ волосы. Потомъ подошелъ къ туалетному столу и перенюхалъ поочередно всѣ флаконы.

— Э, да что тутъ! Сколько ни работай, коли не на глазахъ, ни во что не считаютъ. Хоть лобъ прошиби.

Онъ грустно побрелъ въ переднюю. Въ полутемной

гостиной что-то пискнуло подъ его ногами, затѣмъ колыхнулася снизу портьера, за ней другая...

— Кошка! — сообразилъ онъ. — Ишь-ишь опять къ жильцу въ комнату, опять барыня взбѣсится, какъ намедни. Шалишь!..

Радостный и оживленный вбѣжалъ онъ въ заветную комнату.

— Я те, проклятая! Я те покажу шляться! Я те морду-то на хвостъ выверну!..

На жильца лица не было.

— Ты съ ума сошелъ, идиотъ несчастный! — закричалъ онъ. — Кого ты ругаешь?

— Ей, подлой, только дай поблажку, такъ послѣ и не выживешь, — старался Лешка. — Ею въ комнаты пускать нельзя! Отъ ей только скандалъ!..

Дама дрожащими руками поправляла съѣхавшую на затылокъ шляпку.

— Онъ какой-то сумасшедшій, этотъ мальчикъ, — испуганно и смущенно шептала она.

— Брысь, проклятая! — и Лешка, наконецъ, къ всеобщему успокоенію выволокъ кошку изъ-подъ дивана.

— Господи, — взмолился жилецъ — да уйдешь-ли ты отсюда, наконецъ?

— Ишь, — проклятая, царапается! Ею нельзя въ комнатахъ держать. Она вчера въ гостиной подъ портьерой...

И Лешка длинно и подробно, не утаивая ни одной мелочи, не жалѣя огня и красокъ, описалъ пораженнымъ слушателямъ все непорядочное поведеніе ужасной кошки.

Разсказъ его былъ выслушанъ молча. Дама нагну-

лась и все время искала что-то под столомъ, а жилецъ, какъ-то странно надавливая Лешкино плечо, вытянулъ рассказчика изъ комнаты и притворилъ дверь.

— Я парень смышленный,—шепталъ Лешка, выпуская кошку на черную лѣстницу. — Смышленный и работяга. Пойду теперь печку закрывать.

На этотъ разъ жилецъ не услышалъ Лешкиныхъ шаговъ: онъ стоялъ передъ дамой на кобѣняхъ и, низко-низко склонивъ голову къ ея ножкамъ, замеръ, не двигаясь. А дама закрыла глаза и все лицо съежила, будто на солнце смотреть...

— Что онъ тамъ дѣлаетъ?—удивился Лешка,—словно пуговицу на ейномъ башмакѣ жуетъ! Не.. видно, обронилъ что-нибудь. Пойду поищу...

Онъ подошелъ и такъ быстро нагнулся, что внезапно воспрянувшій жилецъ пребольно стукнулъ ему лбомъ прямо въ бровь.

Дама вскочила вся растерянная. Лешка полѣзъ подъ стулъ, обшарилъ подъ столомъ и всталъ, разводя руками.

— Ничего тамъ нѣту.

— Что ты ищешь? Чего тебѣ наконецъ отъ насъ нужно?—крикнулъ жилецъ неестественно тоненькимъ голосомъ и весь покраснѣлъ.

— Я думалъ, обронили что-нибудь... Опять еще пропадетъ, какъ брошка у той барыни, у черненькой, что къ вамъ чай пить ходитъ... Третьяго дня, какъ уходила,—я, грить, Леша, брошку потеряла,—обратился онъ прямо къ дамѣ, которая вдругъ стала слушать его очень внимательно, даже ротъ открыла, а глаза у нея стали совсѣмъ круглые.

— Ну, я пошелъ да за ширмой на столикѣ и нашелъ. А вчерась опять брошку забыла, да не я убиралъ, а Дуняшка, — вотъ и брошкѣ, стало быть, конецъ...

— Такъ это правда!—страннымъ голосомъ вскрикнула вдругъ дама и схватила жильца за рукавъ, такъ это правда! правда!

— Ей Богу, правда,—успокаивалъ ее Лешка.—Дуняшка сперла, косою чортъ. Кабы не я, она бы все покрала. Я какъ лошадь, все убираю... ей Богу, какъ собака...

Но его не слушали. Дама скоро-скоро побѣжала въ переднюю, жилецъ за ней и оба скрылись за входной дверью.

Лешка пошелъ въ кухню, гдѣ, укладываясь спать въ старый сундукъ безъ верха, съ загадочнымъ видомъ сказалъ кухаркѣ.

— Завтра косому чорту крыпика.

— Ну-у!—радостно удивилась та,—рази что говорили?

— Ужъ коли я говорю, стало знаю.

На другой день Лешку выгнали.

ПРОВОРСТВО РУКЪ.

На дверяхъ маленькаго деревяннаго балаганчика, въ которомъ по воскресеньямъ танцевала и разыгрывала благотворительные спектакли мѣстная молодежь, красовалась длинная красная афиша.

„Спеціально проѣздомъ, по желанію публики, сеансъ грандіознѣйшаго факира изъ черной и бѣлой магіи.

Поразительнѣйшіе фокусы какъ-то: сожигательство платка на глазахъ, добываніе серебрянаго рубля изъ носа почтеннѣйшей публики и прочее вопреки природѣ“.

Изъ бокового окошечка выглядывала печальная голова и продавала билеты.

Дождь шелъ съ утра. Деревья сада вокругъ балаганчика намокли, разбухли, обливались сѣрымъ мелкимъ дождикомъ покорно, не отряхиваясь.

У самаго входа пузырилась и булькала большая лужа. Билетовъ было продано только на три рубля.

Стало темнѣть.

Печальная голова вздохнула, скрылась, и изъ дверей вылѣзъ маленькій облѣзлый господинъ неопредѣленнаго возраста.

Придерживая двумя руками пальто у ворота, онъ задралъ голову и оглядѣлъ небо со всѣхъ сторонъ.

— Ни одной дыры! Все сѣрое! Въ Тимашевѣ прогарь, въ Щиграхъ прогарь, въ Дмитриевѣ прогарь... Въ Обояни прогарь, въ Курскѣ прогарь... А гдѣ не прогарь? Гдѣ, я спрашиваю, не прогарь? Судьѣ почетный билетъ послалъ, головѣ послалъ, господину исправнику... всѣмъ послалъ. Пойду лампы заправлять.

Онъ бросилъ взглядъ на афишу и оторваться не могъ.

— Чего имъ еще надо? Нарывъ въ головѣ, или что? Къ восьми часамъ стали собираться.

На почетныя мѣста или никто не приходилъ, или посылали прислугу. На стоячіе мѣста пришли какіе-то пьяные и стали сразу грозить, что потребуютъ деньги обратно.

Къ половинѣ девятаго выяснилось, что больше никто не придетъ. А тѣ, которые сидѣли, всѣ такъ громко и опредѣленно ругались, что оттягивать дольше становилось опаснымъ.

Фокусникъ напаялилъ длинный сюртукъ, съ каждой гастролью становившійся все шире, вздохнулъ, перекрестился, взялъ коробку съ таинственными принадлежностями и вышелъ на сцену.

Нѣсколько секундъ онъ стоялъ, молча, и думалъ:

— Сборъ четыре рубля, керосинъ шесть гривенъ,— это еще ничего, а помѣщеніе восемь рублей, такъ это уже чего! Головинъ сынъ на почетномъ мѣстѣ—пусть себѣ. Но какъ я уѣду и что буду кушать это я васъ спрашиваю. И почему пусто? Я бы самъ валилъ толпой на такую программу.

— — Браво!—заоралъ одинъ изъ пьяныхъ.

Фокусникъ очнулся. Зажегъ на столѣ свѣчку и сказалъ.

— Уважаемая публика! Позволю предпослать вамъ предисловіемъ. То, что вы увидите здѣсь, не есть что-либо чудесное или колдовство, что противно нашей православной религіи и даже запрещено полиціей. Этого на свѣтѣ даже совсѣмъ не бываетъ. Нѣтъ! Далеко не такъ! То что вы увидите здѣсь, есть ничто иное, какъ ловкость и проворство рукъ. Даю вамъ честное слово, что никакого таинственнаго колдовства здѣсь не будетъ. Сейчасъ вы увидите необычайное появленіе крутого яйца въ совершенно пустомъ платкѣ.

Онъ порылся въ коробкѣ и вынулъ свернутый въ комочекъ пестрый платокъ. Руки у него слегка тряслись.

— Изволите убѣдиться сами, что платокъ совершенно пустъ. Вотъ я его вытряхаю.

Онъ вытряхнулъ платокъ и растянулъ руками.

— Съ утра одна булочка въ кофѣйку и чай безъ сахара,—думалъ онъ.—А завтра что?

— Можете убѣдиться,—повторялъ онъ,—что никакого яйца здѣсь нѣтъ.

Публика зашевелилась, зашепталась. Кто-то фыркнулъ. И вдругъ одинъ изъ пьяныхъ загудѣлъ:

— Вре-ешь! Вотъ яйцо.

— Гдѣ? Что?—растерялся фокусникъ.

— А къ платку на веревочкѣ привязаль.

— Съ той стороны,—закричали голоса.—На свѣчкѣ просвѣчивается.

Смущенный фокусникъ перевернулъ платокъ. Дѣйствительно, на шнуркѣ висѣло яйцо.

— Эхъ ты! — заговорилъ кто-то уже дружелюбно. Тебѣ за свѣчку зайти, вотъ и незамѣтно бы было. А ты впередъ залѣзь! Такъ, братецъ, нельзя.

Фокусникъ былъ блѣдень и криво улыбался.

— Это, дѣйствительно,—говорилъ онъ.—Я, впрочемъ, предупреждалъ, что это не колдовство, а исключительное проворство рукъ. Извините, господа... — голосъ у него задрожалъ и пресѣлся.

— Ладно! Ладно!

— Нечего тутъ!

— Валяй дальше!

— Теперь приступимъ къ слѣдующему поразительному явленію, которое покажется вамъ еще удивительнѣе. Пусть кто-нибудь изъ почтенной публики одолжитъ мнѣ свой носовой платокъ.

Публика стѣснялась.

Многіе уже вынули было, но посмотрѣвъ внимательно, поспѣшили запрятать въ карманъ.

Тогда фокусникъ подошелъ къ головиному сыну и протянулъ свою дрожащую руку.

— Я могъ бы, конечно, и свой платокъ, такъ какъ это совершенно безопасно, но вы можете подумать, что я что-нибудь подмѣнилъ.

Головинъ сынъ далъ свой платокъ и фокусникъ развернулъ его встряхнулъ и растянулъ.

— Прошу убѣдиться! Совершенно цѣлый платокъ.

Головинъ сынъ гордо смотрѣлъ на публику.

— Теперь глядите. Этотъ платокъ сталъ волшебнымъ. Вотъ я свертываю его трубочкой, вотъ подношу къ свѣчкѣ и зажигаю. Горить. Отгорѣлъ весь уголь. Видите?

Публика вытягивала шею.

— Вѣрно!—кричалъ пьяный.—Паленымъ пахнетъ.

— А теперь я сосчитаю до трехъ и—платокъ будетъ опять цѣльнымъ.

— Разъ! Два! Три!! Извольте посмотрѣть!

Онъ гордо и ловко расправилъ платокъ.

— А-ахъ!

— А-ахъ!—ахнула и публика.

Посреди платка зіяла огромная паленая дыра.

— Однако! — сказалъ головинъ сынъ и засопѣлъ посомъ.

Фокусникъ прижалъ платокъ къ груди и вдругъ заплакалъ.

— Господа! Почтениѣйшая пу... Сбору никакого!.. Дождь съ утра... куда ни попаду, вездѣ съ утра... не ѣлъ... не ѣлъ—на булку копѣйка!

— Да вѣдь мы ничего! Богъ съ тобой, — кричала публика.

— Рази мы звѣри! Господь съ тобой.

Но фокусникъ всхлипывалъ и вытиралъ носъ волшебнымъ платкомъ.

— Четыре рубля сбору... помѣщенье — восемь рублей... во-о-о-осемь... во-о-о-о...

Какая-то баба всхлипнула.

— Да полно тебѣ! О, Господи! Душу выворотилъ!— кричали кругомъ.

Въ дверь просунулась голова въ клеенчатомъ капюшонѣ.

— Эт-то что? Расходись по домамъ!

Все и безъ того встали. Вышли. Захлюпали по лужамъ, молчали, вздыхали.

— А что я вамъ скажу, братцы, — вдругъ ясно и звонко сказалъ одинъ изъ пьяныхъ.

Все даже приостановились.

— А что я вамъ скажу! Вѣдь подлець народъ по-

печа пошелъ. Онъ съ тебя деньги сдеретъ, опъ у тебя и душу выворотить. А?

— Вздуть!—ухнуль кто-то во мглѣ.

— Именно, что вздуть. Ай-да! Кто съ нами? Разъ, два... Ну — маршъ! Безо всякой совѣсти народъ... Я тоже деньги платилъ некрадены... Ну, мы жъ те покажемъ! Жжива.

ПОКАЯННОЕ.

Старуха нянька, живущая на покоѣ въ генеральской семьѣ, пришла отъ исповѣди.

Посидѣла минуточку у себя въ уголку и обидѣлась: господа обѣдали, пахло чѣмъ-то вкуснымъ, слышался быстрый топотъ горничной, подававшей на столъ.

— Тьфу! Страстная, не страстная имъ все равно. Лишь бы утробу свою наплатать. Нехотя согрѣшишь, прости Господи!

Вылѣзла, пожевала губами, подумала и пошла въ проходную комнату. Съела на сундучекъ.

Прошла мимо горничная, удивилась.

— И штойто вы, няничка, тутъ сидите? Ровно кукла! Ей-богу—ровно кукла!

— Думай, что говоришь-то!—огрызнулась нянька. Эдакіе дни, а она божится. Развѣ показано божиться въ эдакіе дни. Человѣкъ у исповѣди былъ, а на васъ гляючи, до причастія испоганиться успѣешь.

Горничная испугалась.

— Виновата, няничка! Поздравляю васъ исповѣдавшимся.

— «Поздравляю!» Нынче развѣ поздравляютъ! Нынче наровятъ, какъ бы человѣка избидѣть да упрекнуть. Давеча наливка ихняя пролилась. Кто ее знаетъ, чего

она пролилась. Тоже умнѣй Бога не будешь. А маленькая барышня и говорить: «Это вѣрно няня пролила!» Съ эдакихъ лѣтъ и такія слова.

— Удивительно даже, няничка! Такія маленькія и такъ уже все знаютъ!

— Нонѣшнія дѣти, матушка, хуже акушеровъ! Вотъ они какія нонѣшнія то дѣти. Мнѣ что! Я не осуждаю. Я вонъ у исповѣди была, я теперь до завтрашняго дня маковой росинки не глону, не то что... А ты говоришь—поздравлять. Вонъ старая барыня на четвертой говѣли; я Сонечкѣ говорю: «поздравь бабенку». А она какъ фыркнетъ... «Вотъ еще! очень нужно!» А я говорю: «бабенку уважать надо! Бабенка помретъ, можетъ наслѣдства лишить». Да кабы мнѣ эдакую-то бабенку, да я бы каждый день нашла бы съ чѣмъ поздравить. Съ добрымъ утромъ бабенка! Да съ хорошей погодой! Да съ наступающимъ праздникомъ! Да съ черствыми именинами! Да счастливо откушавши! Мнѣ что! Я не осуждаю. Я завтра причащаться иду, я только къ тому говорю, что нехорошо и довольно стыдно.

— Вамъ бы, няничка, отдохнуть!—лебезила горничная.

— Вотъ уже ноги протяну, належусь въ гробу. Наотдыхаюсь. Будетъ вамъ время нарадоваться. Давно бы со свѣту сжили, да вотъ не даюсь я вамъ. Молодая кость на зубахъ хруститъ, а старая поперекъ горла становится. Не слопаете.

— И что это вы, нянечка! И всѣ васъ только и смотрятъ, какъ бы уважить.

— Нѣтъ ужъ ты мнѣ про уважателей не говори. Это у васъ уважатели, а меня и смолоду никто не ува-

жалъ, такъ подъ старость мнѣ срамиться ужъ поздно. Ты вонъ лучше кучера поиди спроси, куды онъ барыню намедни возилъ... Вотъ что спроси.

— Ой и что вы, няничка! зашептала горничная и даже присѣла передъ старухой на корточки. Куды-жъ это онъ возилъ? Я вѣдь ей-Богу никому...

— А ты не божись. Божиться грѣхъ! За божбу, знаешь, какъ Богъ накажетъ! А въ такое мѣсто возилъ, гдѣ шевелящихся мужчинъ показываютъ. Шевелятся и поютъ. Простынищу разстелаютъ, а они по ей и шевелятся. Мнѣ маленькая барышня рассказала. Самой вишь мало, такъ она и дѣвченку повезла. Самъ бы узналъ, взялъ бы хворостину хорошую да погналъ бы вдоль по Захарьевской! Сказать вотъ только некому. Развѣ нынѣшній народъ ябеду понимаетъ. Нынче каждому только до себя и дѣло. Тьфу! Что ни вспомнишь, то и согрѣшишь! Господи прости!

— Баринъ человѣкъ занятой, конечно имъ трудно до всего доглядѣть—скромно опустивъ глаза, пѣла горничная. Они народъ миловидный.

— Знаю я барина твоего! Съ дѣтства знаю! Кабы не идти завтра къ причастію, рассказала бы я тебѣ про барина твоего! Съ дѣтства такой! Люди къ обѣднѣ идутъ—нашъ еще не продрыхался. Люди изъ церкви идутъ—нашъ чай съ кофеями пьеть. И какъ его только лежебоку дармоѣдину Матерь Святая до генерала дотянула—ума не приложу! Ужъ думается мнѣ—укралъ онъ себѣ этотъ чинъ! Гдѣ ни на есть, а укралъ! Вотъ попытаться только некому! А я ужъ давно смѣкаю, что укралъ. Они думаютъ—нянька старая дура, такъ при ней все можно! Дура-то можетъ и дура. Не всѣмъ же умнымъ быть, надо кому-нибудь и глупымъ.

Горничная испуганно оглянулась на двери.

— Наше дѣло, няничка, служебное. Богъ съ имъ! Пушай! Не намъ разбирать. Утромъ-то рано въ церкву пойдете?

— Я можетъ и совсѣмъ ложиться не буду. Хочу раньше всѣхъ въ церкву придти. Чтобъ всякая дрянъ впередъ людей не лѣзла. Всякъ сверчокъ знай свой шестокъ.

— Это кто-же лѣзетъ-то?

— Да старушонка тутъ одна. Ледащая, въ чемъ душа держится. Раньше всѣхъ, прости Господи, мерзавка въ церкву придетъ, а позже всѣхъ уйдетъ. Кажинный разъ всѣхъ перестоить. И хошь бы присѣла на минуточку! Ужъ мы всѣ старухи удивляемся. Какъ ни крѣпись, а пока часы читаютъ немножко присядешь. А ужъ эта ехида не иначе какъ нарочно. Статочное ли дѣло эстолько выстоять! Одна старуха чуть ей платокъ свѣчкой не припалила. И жаль, что не припалила. Не пялся! Чего пялиться! Развѣ указано, чтобы пялиться. Вотъ приду, завтра раньше всѣхъ да перестою ее, такъ небось форсу посбавить. Видѣть ее не могу! Стою сегодня на колѣнкахъ, а сама все на нее смотрю. Ехида ты, думаю, ехида! Чтобъ тебѣ водянымъ пузыремъ лопнуть! Грѣхъ вѣдь это — а ничего не подѣлаешь.

— Ничего, няничка, вы теперь исповѣдавшись, всѣ грѣхи батюшкѣ-попу отпустили. Теперь ваша душенька чиста и невинна.

— Да, чорта съ два! Отпустила! Грѣхъ это, а должна сказать—плохо меня этотъ попъ исповѣдывалъ. Вотъ когда въ монастырь съ тетушкой съ княгинюшкой ѣздили, вотъ это можно сказать, что исповѣдывалъ.

Ужъ онъ меня пыталъ-пыталъ, корилъ-корилъ, три эпитимьи наложилъ! Все выпросилъ. Спрашивалъ не думаетъ ли княгиня луга въ аренду сдавать. Ну, я покаялась, сказала, что не знаю. А энтотъ живо скоро. Чѣмъ грѣшна? Да вотъ говорю, батюшка, какіе у меня грѣхи. Самые старушья. Кофій люблю, да съ прислугамъ ссорюсь. „А особыхъ, говоритъ, нѣтъ!» А какіи таки особые? Человѣку каждый свой грѣхъ особый. Вотъ что. А онъ вмѣсто того, чтобы попытать да посрамить, взялъ да и отпускъ прочелъ. Вотъ тебѣ и все! Небось деньги-то взялъ. Сдачи-то небось не далъ, что у меня особыхъ-то нѣтъ! Тьфу, прости Господи! Вспомнишь, такъ согрѣшишь! Спаси и помилуй. Ты чего тутъ разсѣлась? Шла бы лучше да подумала: «какъ это я такъ живу, и все не по-хорошему?» Дѣвушка ты молодая! Вонъ воронье гнѣздо на головѣ завилало! А подумала ли ты, какіе дни стоятъ. Въ эдакіе дни эдакъ себя допустить. И нигдѣ отъ васъ безстыдницъ проходу нѣтъ! Исповѣдавшись пришла, дай—думала—посижу тихонько. Завтра вѣдь причащаться идтить. Нѣтъ. И тутъ доспѣла. Пришла натурчала всякой пакости, какая ни на есть хуже. Чортова мочалка, прости Господи. Ишь, пошла съ какимъ форсомъ! Не долго, матушка! Все знаю! Дай срокъ, все барынѣ выпою!

— Пойтить отдохнуть. Прости Господи, еще кто привяжется!

СВОЙ ЧЕЛОВѢКЪ.

Федоръ Ивановичъ получилъ на службѣ замѣчаніе и возвращался домой сильно не въ духѣ. Чтобы отвести душу, сталъ нанимать извозчика отъ Гостинаго двора на Петербургскую сторону за пятнадцать копѣекъ.

Извозчикъ отвѣтилъ коротко, но сильно. Завязалась интересная бесѣда, вся изъ различныхъ пожеланій. Вдругъ кто-то дернулъ Федора Ивановича за рукавъ. Онъ обернулся.

Передъ нимъ стоялъ незнакомый худощавый брюнетъ съ мрачно-оживленнымъ лицомъ, какое бываетъ у человѣка, только что потерявшаго кошелекъ, и быстро, но монотонно говорилъ:

— А, мы таки уже здѣсь! Развѣ я хотѣлъ сюда ѣхать? Ну, а что я могу, когда она меня затащила? За паршивые пятьсотъ рублей, чтобы человѣка водили какъ барана на веревкѣ, такъ это, я вамъ скажу, надо имѣть отчаяніе въ головѣ!

Федоръ Ивановичъ сначала разсердился, потомъ удивился.

Кто такой? Чего лѣзетъ?

— Извините, милостивый государь,—сказалъ онъ,—я не имѣю чести...

Но незнакомецъ не далъ договорить.

— Ну я уже впередъ знаю, что вы скажете! Такъ я вамъ прямо скажу, что у васъ я не могъ остановиться, потому что вы мнѣ не оставили своего адреса. Ну, у кого спросить? У Самуильсона? Такъ Самуильсонъ скажетъ, что онъ васъ въ глаза не видалъ.

— Никакого Самуильсона я не знаю, — отвѣчалъ Ѳеодоръ Ивановичъ. — И прошу васъ...

— Ну, такъ, какъ вы хотите, чтобы онъ сказалъ мнѣ вашъ адресъ, когда вы даже и незнакомы. А Манкина купила коверъ, такъ они уже себѣ воображаютъ... Ну, что такое коверъ? Я васъ спрашиваю!

— Будьте добры, милостивый государь, — удосужился вставить Ѳеодоръ Ивановичъ, — оставить меня въ покоѣ!

Незнакомецъ посмотрѣлъ на него, вздохнулъ и заговорилъ по прежнему быстро и монотонно:

— Ну, такъ я долженъ вамъ сказать, что я таки женился. Она такая рожа, на всѣ Шавли! Говорили про нее, что глазъ стеклянный, такъ это, нужно замѣтить, правда. Говорили, что имѣетъ кривой бокъ, такъ это ужъ тоже правда. Еще говорили, что характеръ... Такъ это ужъ такъ вѣрно! Вы скажете, — когда же онъ успѣлъ жениться? Такъ я вамъ скажу, что ужъ давно. Дайте посчитать: сентябрь... октябрь... гм... ноябрь... да ноябрь. Такъ я уже пять дней, какъ женатъ. Два дня тамъ страдалъ, да два дня въ дорогъ... И кто виноватъ? Такъ вы удивитесь! Соловейчикъ!

Ѳеодоръ Ивановичъ, дѣйствительно, какъ будто удивился. Разсказчикъ торжествовалъ.

— Соловейчикъ! Абрамсонъ мнѣ говорилъ: „чего вы не покупаете себѣ аптеку? Такъ вы купите аптеку“. Ну, кто не хочетъ имѣть аптеку? Я васъ спрашиваю. Покажите мнѣ дурака! А Соловейчикъ говорить: «Идемте къ мадамъ Цѣлковникъ, у нея дочка, такъ

ужь это дочка! Имѣть приданаго три тысячи. Будете имѣть деньги на аптеку“. Я такъ обрадовался.. ну, думаю себѣ, пусть ужь тамъ, если уже все было худо, такъ можетъ и еще немножко быть! Поѣхалъ себѣ въ Могилаевъ, стрѣлялъ въ большую аптеку... Что вы смотрите? Ну, не совсѣмъ стрѣлялъ, а только себѣ цѣлилъ. Присмотрѣлъ. А мадамъ Цѣлковникъ денегъ не даетъ и дочку прячетъ. Дала себѣ паршивые пятьсотъ рублей задатку. Я взялъ. Кто не возьметъ задатку? Я васъ спрашиваю! Покажите мнѣ дурака. А Шелькинъ повелъ меня къ Хасинымъ, у нихъ за дочкой пять тысячъ настоящими деньгами. Хасины балъ дѣлають, гостей много... такъ интеллигентно танцуютъ. А Соловейчикъ выше всѣхъ скачетъ. Я себѣ думаю. возьму лучше пять тысячъ и буду стрѣлять къ Карфункелю въ аптеку по самой площади. Ну, такъ Соловейчикъ говоритъ: „Деньги? У Хасиныхъ деньги? Пусть у меня такъ не будетъ денегъ, какъ у нихъ есть!“ Вы скажете, зачѣмъ я повѣрилъ Соловейчику? Ой! Вы же должны знать, что у него двѣ лавки и кредитъ; это не мы съ вами. Вельможа!! Ну, прямо сказать, онъ таки женился на мадамъ Хасиной, а я на Цѣлковникъ. Такъ она еще велѣла везти себя въ Петербургъ на мой счетъ! Видѣли это? Ей-Богу, это такая рожа, что прямо забыть не могу! Ходилъ сейчасъ по Большому, хотѣлъ стрѣлять въ аптеку. Ну, что тамъ! Вотъ встрѣтилъ васъ, такъ ужь пріятно, что свой человекъ.

— Да позвольте же, наконецъ! — взревѣлъ Федоръ Ивановичъ. — Вѣдь мы же съ вами незнакомы!

Жертва Соловейчика удивленно вскинула брови.

— Мы? Мы не знакомы? Ну, вы меня мертвецки

удивляете! Позвольте! Позапрошлымъ лѣтомъ ѣздили вы въ Шавли? Ага! Ѣздили! Ходили съ господиномъ землемѣромъ лѣсъ смотрѣть? Ага! Такъ я вамъ скажу, что зашли вы къ часовщику Магазинеру, а около двери одинъ господинъ вамъ упредилъ, что Магазинеръ пошли кушать. Ну, такъ этотъ же господинъ былъ я, а! Ну?

ВЪ СТЕРЕО-ФОТО-КИНЕ-МАТО-СКОПО-БИО-ФОНО И
ПРОЧ.-ГРАФЪ.

— Пожалуйста, господинъ объяснитель, не перепутайте опять катушекъ, какъ въ тотъ разъ.

— Что такое въ тотъ разъ? Я васъ не понимаю.

— А то, что на экранѣ изображался Вильгельмъ и спускъ броненосца, а вы валяли изъ естественной исторіи о какой-то тамъ бабочкиной пыльцѣ. Могутъ выйти крупныя непріятности, не говоря уже о томъ, что платить даромъ деньги я не желаю. Вы—прекрасный ораторъ, я не спору, и великолѣпно знаете свое дѣло, но нужно иногда поглядывать и на экранъ.

— Я не могу становиться спиной къ публикѣ. Это болванъ машинистъ путаетъ,—ему и говорите.

— Можете скосить глаза чтобъ было видно. Словомъ, будьте осмотрительнѣе. Пора начинать.

Ддзз... зашипѣлъ фонарь. Объяснитель откашлялся и, ставъ спиной къ экрану, поставилъ прямо къ свѣту свое вдохновенное лицо.

— Милостивые государи и милостивыя государыни!—началь онъ.—Передъ вами почтеннѣйшая рѣка сѣверной Америки, такъ называемая Амазонка, за пристрастіе тамошнихъ прекрасныхъ дамъ къ верховой ѣздѣ. Амазонка катитъ свои величественныя волны

день и ночь образуя водопады, истоки и притоки, подъ плескъ которыхъ совершаются различныя событія. Кусты, деревья, песокъ и прочія разнообразности природы окаймляютъ ея живописные берега.

Теперь одинъ мигъ... и вотъ, мы присутствуемъ при мрачныхъ развалинахъ Колизея. Ужасъ охватываетъ члены и приковываетъ вниманіе. Здѣсь могущественный тиранъ демонстрировалъ свое жестокосердіе. (Гм... мѣняй, что ли, не вѣкъ же!...) Ну-съ, теперь, какъ по манію волшебнаго жезла, мы переносимся въ дивную Грецію и останавливаемся передъ статуей святой Киприды, поражающей уже много вѣковъ граціей осанки. (Ну?) А вотъ и почтеннѣйшій городъ Венеція, превышающій своими красотами игру самаго опытнаго соображенія.

Дззз...

Вотъ раскопки Помпей. Трупъ собаки и двое влюбленныхъ, поза которыхъ доказываетъ изумленнымъ зрителямъ, что наши предки умѣли такъ же любить, какъ и наши потомки.

Дззз... (А? Отстаньте! Самъ знаю).

Теперь сдѣлаемъ временное отступленіе въ область естественной исторіи. Передъ вами картина, которую можно наблюдать при помощи чудо-микроскопа, гордости XX вѣка. Онъ показываетъ мельчайшіе, невидимые глазу анатомы, блоху величиною со слона и инфузорию въ кускѣ сыра. Много есть необъяснимаго въ природѣ, и люди, сами того не подозревая, посятъ цѣлыя міры подъ ногтемъ любого изъ своихъ пальцевъ.

Теперь взглянемъ на Везувій; что можетъ быть величественнѣе этой извергающейся картины приро...

(Что? А мнѣ какое дѣло! Самъ виноватъ. Не якатушки путаль. Ставь слѣдующую! О, чортъ!) Передъ вами, милостивые государи, рѣдкій экземпляръ живородящей рыбы. Природа въ своемъ щедромъ разнообразіи (зачѣмъ же Везувій, когда я началъ про рыбу? Ужъ держи чтонибудь одно. Поправился! Я тебѣ поправлюсь!) Дымъ валить изъ грандіознаго жерла въ видѣ воронки и живописно вырисовывается на лазурной синевѣ южнаго неба. Еще одно мановеніе волшебнаго жезла (долго будешь копаться?)... и вотъ мы на берегу Неаполя, дивнѣйшаго города въ мірѣ. Тысячу разъ права половица (не перебивай!), говорящая: „Кто не пилъ воды изъ Неаполя, тотъ не пилъ ничего“ (Что? ископаемое? Кто жъ тебѣ велѣлъ! Мѣняй катушку, чтобъ тебя!.) Прекрасны также окрестности этого уважаемаго города. Вотъ передъ нами Пигмальонъ, оживившій при помощи своего вдохновенія (какъ свинья? Зачѣмъ свинья? Бѣчно лѣзете не въ ту коробку! Отложите въ сторону!) гм... дивную мраморную скульптуру, которую оно собственноручно высѣкъ (опять! Да я же вамъ сказалъ, отложите въ сторону! Вы думаете, что если покажете свинью хвостомъ впередъ, то это уже будетъ Пигмальонъ) изъ тончайшаго мрамора. Есть много чудесъ природы, но чудеса искусства отъ этого не дѣлаются хуже.

Дззз...

И вотъ, второй образецъ дивнаго творчества неизвѣстныхъ рукъ — досточтимая всѣми Венера Милосская. Причислявшая свою красоту къ лику боговъ, она, тѣмъ не менѣе, обнаруживаетъ стыдливость (такъ я же говорилъ... Зачѣмъ поправлять! Нужно прямо снять и отложить въ сторону. Нельзя же свинью, когда я

говору о другой катушкѣ!), что показываетъ скромность, присущую древнимъ грекамъ даже на самыхъ высокихъ ступеняхъ общественной лѣстни... (а вы таки свое! Это прямо какой-то крестъ на моей жизни!) лѣстницы. А вотъ еще одно мгновеніе... отъ этой группы неизвѣстнаго рѣзца мы перекидываемся въ необъятную степь нашего великаго и грознаго оте... (если вы хотите показывать свою свинью двѣнадцать разъ подрядъ, то лучше сдѣлать антрактъ, потому что публика можетъ потребовать деньги обратно. Каждый заплатилъ и имѣетъ право потребовать. Я вамъ говорю, лучше погасите лампу. Что? Господинъ директоръ разберетъ—кто!) А теперь, милостивые государи и милостивыя государины, сдѣлаемъ перерывъ на десять минутъ, послѣ котораго снова пустимся въ наши далекія странствованія по бѣлу свѣту, которыя такъ развиваютъ умственные способности и душевные свойства нашей натуры, не смотря на то, что мы свершаемъ ихъ, сидя на комфортабельныхъ стульяхъ. (Болванъ! Вы, вы болванъ!) Итакъ, до свиданія на островѣ Целебесѣ среди мѣстныхъ нравовъ и поражающей обстановки.

КУРОРТЪ.

Сезонъ умираетъ.

Разъѣзжаются дачники, закрываются ванны и купальни.

Въ кургаузѣ разговоры о желѣзной дорогѣ, о пароходахъ, о скоромъ отъѣздѣ.

Дамы ходятъ по магазинамъ, покупаютъ сувениры: деревянныя раскрашенныя вазочки, финскіе ножи и передники.

— Сколько стоитъ «мита макса?» — спрашиваетъ дама у курносаго, съ бѣлыми глазами, лавочника.

— Кольме марка, — отвѣчаетъ тотъ.

— Кольме... гм... кольме это сколько? — спрашиваетъ дама у спутницы.

— Три... кажется три.

— А на наши деньги сколько?

— Три помножить на тридцать семь... гм... трижды три — девять, да трижды семь... не множится...

— Утомительная жизнь въ Финляндіи, — жалуется первая. Цѣлые дни только ходишь да переводишь съ марки на рубль, да съ метра на аршинъ, да съ километра на версту, да съ килограмма на пудъ. Голова кругомъ идетъ. Все лѣто мучилась, а спроси, такъ и

теперь не знаю, сколько въ киллограммѣ аршинъ, то бишь марокъ.



Тяжелѣе всѣхъ чувствуетъ увяданіе жизни молодой помощникъ аптекаря.

Каждый четвергъ танцоваль онъ въ курзалѣ бѣшенныя венгерки съ молодыми ревматичками, бравшими грязевыя ванны.

Каждое утро бѣгалъ онъ на пристань и покупалъ себѣ свѣжій цвѣтокъ въ петличку.

Цвѣты привозили окрестные рыбаки прямо на лодкахъ вмѣстѣ съ рыбой, и эти дары природы во время пути любезно обмѣнивались ароматами. Поэтому, въ ресторанѣ кургауза часто подавалась щука, отдающая левкоемъ, а розовая гвоздика на груди аптекаря благоухала салакой.

О, незабвенные танцевальные вечера подъ звуки городского оркестра: скрипка, труба и барабанъ!

Вдоль стѣнъ на скамейкахъ и стульяхъ сидятъ маменьки, тетеньки, уже потерявшія смѣлость показывать публично свою грацію, и младшія сестрицы, еще не отваживающіяся.

На стѣнѣ виситъ расписаніе танцевъ.

Вотъ загудѣла труба, взвизгнула скрипка, стукнулъ барабанъ.

— Это, кажется, полька? — догадывается одна изъ сидящихъ маменекъ.

— Ахъ нѣтъ, мамочка, кадрили! Новая кадрили, — говоритъ сестричка.

— Не болтай ногами и не дергай носомъ, вмѣшивается тетенька.— Это не кадрили, а мазурка.

Распорядитель, длинноногій студентъ, шведъ, на минутку задумывается, но, бросивъ быстрый взглядъ на расписаніе, смѣло кричитъ:

— Valsons!

И вотъ молодой помощникъ аптекаря, томно склонившись, охватываетъ плотный станъ дамы, лѣжащей отъ ревматизма въ рукѣ, и начинаетъ плавно вращать ее вокругъ комнаты. Алая гвоздика между ихъ носами пахнетъ окунемъ.

— Pas d'Espagne!—красный и мокрый кричитъ распорядитель и голова его отъ натуги трясется.

Выскакиваетъ гимназистъ, маленькій, толстый, въ пузырящейся парусиновой блузѣ. Передъ нимъ, держа его за руку, топаютъ ногами пожилая гувернантка одного изъ докторовъ. Гимназистъ чувствуетъ себя истымъ испанцемъ, щелкаетъ языкомъ, а гувернантка мрачно наступаетъ на него, какъ быкъ на торреадора.

Маленькій кадетъ, обдернувъ блузу, неожиданно расшаркнулся передъ одной изъ тетокъ. Та приняла это за приглашеніе и пустилась плясать. Къ ужасу маленькаго кадета, тетка проявила чисто испанскую страсть и неутомимость въ танцахъ. Она извивалась, пристукивала каблукками и посылала своему крошечному кавалеру вакхическія улыбки.

Помощникъ аптекаря выдѣлывалъ такіе кренделя своими длинными ногами, что наблюдавшій за танцами у дверей старый полковникъ даже обидѣлся.

— Поставить бы имъ солдатъ на постой, перестали бы безобразничать.

Диспорядитель снова справляется съ расписаніемъ и призываетъ всѣхъ къ венгеркѣ

Страсти разгораются. Полъ, возрастъ, общественное положеніе—все ступшевывается и тонетъ въ гулкомъ топотѣ ногъ, визгахъ и грохотѣ оркестра.

Вотъ женщина-врачъ въ гигиеническомъ капотѣ мечется съ двѣнадцатилѣтнимъ тонконогимъ крокетистомъ, вотъ двѣ барышни—одна за кавалера, вотъ десятилѣтняя дѣвочка съ сѣдообразнымъ шведомъ; вотъ странная личность въ бархатныхъ туфляхъ и парусиновой парѣ лягается, обнявъ курсистку-медичку.

Ровно въ часъ ночи оркестръ замолкаетъ мгновенно. Напрасно танцоры, болтая въ воздухѣ ногами, поднятыми для «па де зефиръ», умоляютъ поиграть еще хоть пять минутъ. Музыканты мрачно свертываютъ ноты и сползаютъ съ хоровъ. Они молча проходятъ мимо публики, и многіе вслухъ удивляются, какъ это три человѣка въ состояніи были производить такой страшный шумъ.

* * *

На другое утро томный аптекарскій ученикъ, загадочно улыбаясь, толчетъ въ ступкѣ мѣль съ мятой.

Открывается дверь. Она. Дама, страдающая ревматизмомъ въ рукѣ.

— Bitte... Marienbad... — лепечетъ она, но глаза ея говорятъ: «Ты помнишь?»

— Искусственный или натуральный?—тихо спрашиваетъ онъ, а глаза отвѣчаютъ: «Я помню! Я помню!»

— Гигроскопической ваты на десять пенни,—вздыхаетъ она («Ты видишь, какъ трудно уйти отсюда»).

Онъ достаетъ вату, завертываетъ ее и потихоньку
душить оппопонаксомъ.

Въ петличкѣ у него увядшая вчерашняя гвоздика.
Сегодня уже не привезли новыхъ цвѣтовъ.

Осень.

ВЗАМѢНЪ ПОЛИТИКИ.

Конст. Эрбергу.

Сѣли обѣдать.

Глава семьи, отставной капитанъ съ обвисшими словно мокрыми усами и круглыми, удивленными глазами озирался по сторонамъ съ такимъ видомъ, точно его только что вытащили изъ воды и онъ еще не можетъ притти въ себя. Впрочемъ, это былъ его обычный видъ и никто изъ семьи не смущался этимъ.

Посмотрѣвъ съ нѣмымъ изумленіемъ на жену, на дочь, на жильца, нанимавшаго у нихъ комнату съ обѣдомъ и керосиномъ, заткнулъ салфетку за воротникъ и спросилъ:

— А гдѣ же Петька?

— Богъ ихъ знаетъ, гдѣ они валандаются,—отвѣчала жена.—Въ гимназію палкой не выгонишь, а домой калачомъ не заманишь. Балуетъ гдѣ-нибудь съ мальчишками.

Жилецъ усмѣхнулся и вставилъ слово:

— Вѣрно, все политика. Разные тамъ митинги. Куда взрослые, туда и они.

— Э, нѣтъ, миленькій мой,—выпучилъ глаза капитанъ.—Съ этимъ дѣломъ, слава Богу, покончено. Ни-

какихъ разговоровъ, никакой трескотни. Кончено-съ. Теперь нужно дѣломъ заниматься, а не языкомъ трепать. Конечно, я теперь въ отставкѣ, но и я не сижу безъ дѣла. Вотъ, придумаю какое-нибудь изобрѣтеніе возьму патентъ и продамъ, къ стыду Россіи, куда-нибудь за границу.

— А вы что же изволите изобрѣтать?

— Да еще навѣрное не знаю. Что-нибудь, да изобрѣту. Господи мало-ли еще вещей не изобрѣтено! Ну, напримѣръ, скажемъ—изобрѣту такую какую-нибудь машинку, чтобы каждое утро въ положенный часъ, аккуратно меня будила. Покрутилъ съ вечера ручку, а ужъ она сама и разбудить. А?

— Папочка,—сказала дочь,—да, вѣдь это просто будильникъ.

Капитанъ удивился и замолчалъ.

— Да, вы, дѣйствительно, правы,—тактично замѣтилъ жилецъ.—Отъ политики у насъ у всѣхъ въ головѣ трезвонъ шелъ. Теперь чувствуешь, какъ мысль отдыхаетъ.

Въ комнату влетѣлъ краснощекій третьеклассникъ гимназистъ, чмокнулъ на ходу щеку матери и громко закричалъ:

— Скажите: отчего гимн-азія, а не гимн-африка.

— Господи помилуй! Съ ума сошелъ! Гдѣ тебя носить? Чего къ обѣду опаздываешь? Вонъ и супъ холодный.

— Не хочу супу. Отчего не гимн-африка?

— Ну, давай тарелку: я тебѣ котлету положу.

— Отого кот-лета, а не кошка-зима? — дѣловито спросилъ гимназистъ и подаль тарелку.

— Его вѣрно сегодня выпороли,—догадался отецъ.

— Отчего вы-пороли, а не мы-пороли? — запихивая въ ротъ кусокъ хлѣба, бормоталъ гимназистъ.

— Нѣтъ, видѣли вы дурака? — возмущался удивленный капитанъ.

— Отчего бѣло-курый, а не черно-пѣтухатый? — спросилъ гимназистъ, протягивая тарелку за второй порціей.

— Что-о?—Хоть бы отца съ матерью постыдился?!..

— Петя, стой, Петя! — крикнула вдругъ сестра. — Скажи, отчего говорятъ д-верь, а не говорятъ д-со-мѣвайся? А?

Гимназистъ на минуту задумался и, вскинувъ на сестру глаза, отвѣтилъ:

— А отчего пан-талоны, а не хам-купоны!

Жилецъ захихикалъ.

— Хам-купоны... А вы не находите, Иванъ Степанъчъ, что это занятно? Хам-купоны!..

Но капитанъ совсѣмъ растерялся.

— Сонечка! — жалобно сказалъ онъ женѣ. — Вы гони этого... Петьку изъ-за стола! Прощу тебя, ради меня.

— Да что ты, самъ не можешь, что-ли? Петя, слышишь? Папочка тебѣ приказываетъ выйти изъ-за стола. Маршъ къ себѣ, въ комнату! Сладкаго не получишь!

Гимназистъ надулся.

— Я ничего худого не дѣлаю... у насъ весь классъ такъ говоритъ... Что-жъ, я одинъ за всѣхъ отдувайся!..

— Нечего, нечего! Сказано—иди вонъ. [Не умѣешь себя вести за столомъ, такъ и сиди у себя!]

Гимназистъ всталъ, обдернулъ курточку и, втянувъ голову въ плечи, пошелъ къ двери.

Встрѣтивъ горничную съ блюдомъ миндальнаго киселя, всхлипнулъ и, глотая слезы, проговорилъ:

— Это подло такъ относиться къ родственникамъ... Я не виноватъ... Отчего вино-вать, а не пиво-вать?!

Нѣсколько минутъ все молчали. Затѣмъ, дочь сказала:

— Я могу сказать, отчего я вино-вата, а не пиво-хлопокъ.

— Ахъ, да ужъ перестань хоть ты-то! — замахала на нее мать.—Слава Богу: не маленькая...

Капитанъ молчалъ, двигалъ бровями, удивлялся и что-то шепталъ.

— Ха-ха! Это замѣчательно, — ликовалъ жилецъ.— А я тоже придумалъ: отчего живу-земъ, а не померъ-земъ. А? Это, понимаете, по-французски. Живуземъ. Значить, „я васъ люблю“. Я немножко знаю языки, то-есть сколько каждому свѣтскому человѣку полагается. Конечно, я не специалистъ-лингвистъ...

— Ха-ха-ха! — заливалась дочка. — А почему Дубровинъ, а не осина-одинакова?..

Мать вдругъ задумалась. Лицо у нея стало напряженное и внимательное, словно она къ чему-то прислушивалась:

— Постой, Сашенька! Постой минутку. Какъ это... Вотъ опять забыла...

Она смотрѣла на потолокъ и моргала глазами.

— Ахъ, да! Почему сатана... нѣтъ—почему дьяволъ... нѣтъ, не такъ!..

Капитанъ уставился на нее въ ужасъ.

— Чего ты лаешься?

— Пстой! Пстой! Не перебивай. Да! Почему говорить чертить, а не дьяволить?

— Охъ, мама! Мама! Ха-ха-ха! А отчего «па-почка», а не...

— Пошла вонъ, Александра! Молчать! — крикнулъ капитанъ и выскочилъ изъ-за стола.

* * *

Жильцу долго не спалось. Онъ ворочался и все придумывалъ, что онъ завтра спросить. Барышня вечеромъ прислала ему съ горничной двѣ записочки. Одну въ девять часовъ: «Отчего обни-мать, а не обни-отецъ?» Другую — въ одиннадцать: «Отчего руб-ашка, а не девяносто девять копѣекъ-ашка?»

На обѣ онъ отвѣтилъ въ подходящемъ тонѣ и теперь мучился, придумывая, чѣмъ-бы угостить барышню завтра.

— Отчего... отчего... — шепталъ онъ въ полудремотѣ.

Вдругъ кто-то тихо постучалъ въ дверь.

— Кто тамъ?

Никто не отвѣтилъ, но стукъ повторился.

Жилецъ всталъ, закутался въ одѣяло.

— Ай-ай! Что за шалости! — тихо смѣялся онъ, отпирая двери, и вдругъ отскочилъ назадъ.

Передъ нимъ, еще вполне одѣтый, со свѣчей въ рукахъ стоялъ капитанъ. Удивленное лицо его было блѣдно и непривычная напряженная мысль сдвинула круглыя брови.

— Виновать, — сказалъ онъ. — Я не буду беспокоить.. Я на минутку... Я придумалъ...

— Что? Что? Изобрѣтеніе? Неужели?

— Я придумалъ: отчего чер-нила, а не чер-какой-нибудь другой рѣки? Нѣтъ... у меня какъ-то иначе... лучше выходило... А, впрочемъ, виновать... Я, можетъ быть, обезпокоилъ... Такъ—не спалось—заглянулъ на огонекъ...

Онъ криво усмѣхнулся, расшаркался и быстро удался.

НОВЫЙ ЦИРКУЛЯРЪ.

Евель Хасинъ стоялъ на берегу и смотрѣлъ какъ его сынъ тянетъ паромъ черезъ узенькую поросшую рѣченку.

На паромѣ стояла телѣга, понурая лошаденка и понурый мужиченка.

Въ душѣ Евеля шевельнулось сомнѣніе.

— Чи взялъ ты зъ него деньги впередъ?—крикнулъ онъ сыну.

Сынъ что-то отвѣчалъ. Евель не разслышалъ и хотѣлъ переспросить, но вдругъ услышалъ по дорогѣ топотливые шаги. Онъ обернулся. Прямо къ нему бѣжала дочка, очевидно съ какой то потрясающей новостью. Она плакала, махала руками, присѣдала, хваталась за голову.

— Ой, папаша! Ыдетъ! Ой, что же намъ теперь дѣлать!

— Кто ѣдетъ?

— Ой, господинъ урядникъ!..

Евель всплеснулъ руками, взглянулъ вопросительно наверхъ, но не найдя на небѣ никакого знака, укоризненно покачалъ головой и пустился бѣжать къ дому.

— Гинда!—крикнулъ онъ въ сѣняхъ. — Чи правда?

— Ой правда, — отвѣчалъ изъ за занавѣски рыдающій голосъ.

— Въ четвергъ наѣзжалъ, съ четверга три дня прошло. Только три дня. Чи-жъ ты ему чего не доложила?

— Доложила, ажъ переложила, — рыдалъ голосъ Гинды.—Крупы положила, сала шматокъ урѣзала, курицу съ хохломъ...

— Можетъ бульбу забыла?

— И бульбу сыпала...

Въ хату вбѣжала дѣвочка.

— Ой, папаша! ѣдетъ! Ой, близко!

— А можетъ онъ верхомъ пріѣхалъ, — говорить Евель и въ голосъ его дрожить надежда.

— На! На дрендулькѣ пріѣхалъ. Коня къ забору привязалъ самъ у хату идти.

Въ окно кто-то стукнулъ.

— Эй! Евель Хасинъ, паромщикъ!

Евель сдѣлалъ любезное лицо и выбѣжалъ на улицу.

— И какъ мы себя удивились...— началъ онъ.

Но урядникъ былъ озабоченъ и сразу приступилъ къ дѣлу.

— Ты—паромщикъ Евель Хасинъ?

— Ну какъ же, господинъ урядникъ, вамъ должно быть извѣстно...

— Что тамъ извѣстно? — огрызнулся урядникъ, точно ему почудились какіе то непріятные намеки. Ничего намъ не можетъ быть извѣстно предъ лицомъ начальства. Такъ что вышелъ новый циркуляръ. Еврей значить, который имѣетъ несимпатичное распространіе въ окружающей природѣ и опасно возбуждаетъ

жителей, того значить ф-фью! Облеченъ властью по шапкѣ. Понялъ? Разъ же я тебя считаю пріятнымъ и безпорядку въ тебѣ не вижу — живи. Мнѣ наплевать—живи.

— Господинъ урядникъ! Развѣ-же я когда-нибудь...

— Молчи! Я теперь долженъ наблюдать. Два раза въ недѣлю буду наѣзжать и справляться у окружающихъ жителей. Ежели кто что и такъ далѣе—у меня расправа коротка. Лѣвое плечо впередъ! Ма-аршъ! Понялъ?

— А какъ же не понять! Я можетъ еще уже давно понять.

— Можешь идти, если нужно что похозяйничать. Я тутъ трубочку покурю. Мнѣ вѣдь тожѣ некогда. Васѣ-то тутъ тридцать персонъ, да все въ разныхъ концахъ. А я одинъ. Всѣхъ объѣхать дня не хватитъ.

Евель втянулъ голову въ плечи, вздохнулъ и пошелъ въ хату.

— Гинда! Неси что надо, положи въ дрендульку. Они торопятся.

* * *

— Ой, Евель! Вставай скорѣй! Не слышишь ты звонковъ? Или у тебя сердце оглохло. Ну я разбудю его. Знаешь, кого нашъ Хаимъ на паромѣ тянетъ? Господина станового! Станового тянетъ нашъ Хаимъ, везетъ бѣду на веревкѣ прямо въ нашъ домъ.

Евель вскочилъ блѣдный, взъерошенный. Взглянулъ на потолокъ, подумалъ, покрутилъ головой.

— Это Гинда, уже ты врешь.

— Пусть онъ такъ ѣдетъ, какъ я вру! — зарыдала Гинда.

Тогда онъ вдругъ понять, заметался, кинулся къ окну.

— Двоська! Гони кабана въ пуню. Гони скорѣе; Зачини двери!

— Ой, гони кабана! — спохватилась и Гинда. Ой, Двоська, гони, двери зачини.

Было какъ разъ время.

Толстый приставъ вылъзалъ изъ брички.

— Таки въ бричкѣ!—съ тоскою шепталъ Евель. — Таки не верхомъ!.. Гинда поди въ кладовку, вынеси гуся...

Гинда всхлипнула и полѣзла въ карманъ за ключами. А Евель уже кланялся и говорилъ самымъ любезнымъ голосомъ:

— Ваше превосходительство! и какъ мы себѣ удивились...

— Удивился? Чего-же ты, жидъ, удивился? Тебѣ урядникъ новый циркуляръ читалъ?

— Урядники-съ читали-съ...

— К-каналья! Поспѣлъ... Онъ минутку подумалъ.— Ну-съ такъ значить вполнѣ отъ тебя зависить вести себя такъ, чтобы на мѣстѣ сидѣть.

Ты вонъ паромъ арендуешь, доходъ имѣешь, ты долженъ этимъ дорожить. Вонъ и огородъ у тебя... Крамолу станешь разводить — къ черту полетишь. Ежели не будешь пріятенъ властямъ и вообще народу... Капусту не садишь? Мнѣ капуста пужна. Двадцать кочановъ... Терентій, поиди выбери — вонъ у него огородъ. Онъ еще паршивыхъ подсунетъ. Всѣмъ долженъ быть пріятенъ и вполнѣ безопасенъ. Понялъ? Если кто-либо замѣтитъ въ тебѣ опасную наклонность, грозящую развращеніемъ нравовъ мирнаго населенія и совращеніемъ въ крамольную дѣятельность съ нарушеніемъ государственныхъ устоевъ и распростране-

ніемъ... Это что за дѣвченка? Дочка? Пусть поидеть гороху нациплеть. Мнѣ много нужно... и распространіемъ непріятнаго впечатлѣнія вслѣдствіе какихъ бы то ни было физическихъ, нравственныхъ или иныхъ свойствъ...

— Свиной держишь? Какъ-нѣтъ? А это что? Это чьи слѣды? Твои что-ли? Вонъ и пунька за амбарчикомъ. Свиныя?

— Ваше превосходительство! Пусть буду я такъ богать, какъ оно свинья! Ваше...

— Что ты врешь! Обалдѣлъ! Съ кѣмъ говоришь!? Кому врешь? Мерзавецъ! Воронъ костей не соберетъ!.. Отвориай пуню. Я хочу у тебя свинью кушить.

— Ваше высокое превосходительство! Я не вралъ. Видитъ Богъ! Оно не свинья! Оно кабанъ...

— Б-балванъ! Скажи Терентію, пусть веревкой окрутитъ. Можно сзади привязать. И кабанъ то какой тощій. Подлецы! Скотину держать, а пойло сами жрутъ. Ну ладно, не скули! Я вѣдь не сержусь... Деньги за мной.

* *
*

Два дня Евеля трясла лихорадка.

На третій день выльзъ погрѣться на солнышкѣ. Подошла Гинда. Стали говорить про кабана, вспоминать, какой онъ былъ.

— Онъ можетъ пудовъ восемь вѣсилъ...—вздыхаль Евель.

— А можетъ и девять—и девять съ половиной. Все можетъ быть. Почему нѣтъ.

— Я бы его продалъ въ городѣ за десять рублей, такъ у насъ на каждый шабашъ селедка бы была и деньги бы спрятаны были.

— А я бы его зарѣзала, тай посолила бы. Господину уряднику по шматочку надолго бы хватило. А теперь, что я дамъ? Огурцовъ они не любятъ...

— А я бы продалъ, аренду заплатилъ. Жалко кабана. Хорошій былъ. И рѣзать жалко.

— Жалко!—согласилась Гинда.—Хорошій.

Но Евель уже не слушалъ ее. Онъ весь насторожился и волосы у него стали дыбомъ.

— Звонки...

— Звонки...—стонущимъ шопотомъ вторила Гинда.

— Это самъ...

— Самъ...

Евель на этотъ разъ не поднималъ глазъ къ небу. Чего тамъ спрашивать, разъ уже знаешь.

Тройка неслась прямо на нихъ.

Не успѣли лошади остановиться, какъ въ коляскѣ что то загудѣло, зарычало... Евель ринулся впередъ.

— Кррамольники! Да я тебя въ порошокъ изотру мерррз...

— Циркуляръ понимаешь?

— Ой, понимаю!—взвылъ Евель. — Господинъ урядникъ объясняли, господинъ его превосходительство приставъ объясняли... Понимаю! Ваше сіятельство! хотѣлъ бы я такъ не понимать, какъ я понимаю!

— Молчать! Циркуляръ разъяснили?

— Ой какъ разъяснили! Все до послѣдняго кабана разъяснили..

— Что-о? Ты что себѣ позволяешь? Да ты знаешь-ли, что если я захочу, такъ отъ тебя мокраго мѣста не останется. Пойди размѣняй мнѣ двадцать рублей. Живо! Бумажка за мной.

— Ваше высокое сіят...

Исправникъ рывкнулъ. Евель подогнулъ колѣни и шатаясь пошелъ въ хату.

Тамъ уже сидѣла Гинда и распарывала подкладку у подола своего платья.

Евель сѣлъ рядомъ и ждалъ.

Изъ подкладки выгнѣвъ комокъ грязныхъ тряпокъ. Дрожащія пальцы развернули его, высыпали содержимое на колѣни.

— Только семнадцать рублей и восемьдесятъ семь копѣекъ... Убѣтъ!

— Еще капуста осталась... Можетъ они капусту кушаютъ...

Евель поднялъ глаза къ потолку и тихо заговорилъ.

— Боже праведный! Боже добрый и справедливый! Сдѣлай такъ, чтобы они кушали капусту!..

МОДНЫЙ АДВОКАТЪ.

Въ этотъ день народу въ судѣ было мало. Интереснаго засѣданія не предполагалось.

На скамьяхъ за загородкой томились и вздыхали три молодыхъ парня въ косовороткахъ. Въ мѣстахъ для публики — нѣсколько студентовъ и барышень, въ углу два репортера.

На очереди было дѣло Семена Рубашкина. Обвинялся онъ, какъ было сказано въ протоколѣ, „за распространіе волнующихъ слуховъ о роспускѣ первой Думы“ въ газетной статьѣ.

Обвиняемый былъ уже въ залѣ и гулялъ передъ публикой съ женой и тремя пріятелями. Всѣ были оживлены, немножко возбуждены необычайностью обстановки, болтали и шутили.

— Хотя бы ужъ скорѣе начинали, — говорилъ Рубашкинъ, — голоденъ, какъ собака.

— А отсюда мы прямо въ „Вѣну“ завтракать — мечтала жена.

— Га! га! га! — Вотъ какъ запрячутъ его въ тюрьму, вотъ тамъ и будетъ завтракъ — острили пріятели.

— Ужъ лучше въ Сибирь, — кокетничала жена, — на вѣчное поселеніе. Я тогда за другого замужъ выйду.

Пріятели дружно гоготали и хлопали Рубашкина по плечу.

Въ залу вошелъ плотный господинъ во фракъ и, надменно кивнувъ обвиняемому, усѣлся за пюпитръ и сталъ выбирать бумаги изъ своего портфеля.

— Это еще кто?—спросила жена.

— Да это мой адвокатъ.

— Адвокатъ?—удивились пріятели.—Да ты съ ума сошелъ! Для такого ерундоваго дѣла адвоката брать! Да это, батенька, курамъ на смѣхъ. Что онъ дѣлать будетъ? Ему и говорить то нечего! Судь прямо направить на прекращеніе.

— Да я, собственно говоря, и не собирался его приглашать. Онъ самъ предложилъ свои услуги. И денегъ не беретъ. Мы, говоритъ, за такія дѣла изъ принципа беремся. Гонораръ насъ только оскорбляетъ. Ну я, конечно, настаивать не сталъ. За что же его оскорблять?

— Оскорблять не хорошо,—согласилась жена.

— А съ другой стороны, чѣмъ онъ мнѣ мѣшаетъ. Ну, поболтаетъ пять минутъ. А можетъ быть еще и пользу принесетъ. Кто ихъ знаетъ? Надумаютъ еще тамъ какой нибудь штрафъ наложить, анъ онъ и уладитъ дѣло.

— Н-да, это дѣйствительно,—согласились пріятели.

Адвокатъ всталъ, расправилъ баки, нахмурилъ брови и подошелъ къ Рубашкину.

— Я рассмотрѣлъ ваше дѣло,—сказалъ онъ и мрачно прибавилъ: „мужайтесь“.

Затѣмъ вернулся на свое мѣсто.

— Чудакъ!—прыснули пріятели.

— Ч-чортъ — озабоченно покачалъ головой Рубашкинъ. Штрафомъ пахнетъ.



— Прошу встать! Судъ идетъ!—крикнулъ судебный приставъ.

Обвиняемый сѣлъ за свою загородку и оттуда кивалъ женѣ и друзьямъ, улыбаясь сконфуженно и гордо, точно получилъ пошлый комплиментъ.

— Герой!—шепнулъ женѣ одинъ изъ пріятелей.

— Православный! — бодро отвѣчалъ между тѣмъ обвиняемый на вопросъ предсѣдателя.

— Признаете-ли вы себя авторомъ статьи, подписанной инициалами С. Р.

— Признаю.

— Что имѣете еще сказать по этому дѣлу?

— Ничего,—удивился Рубашкинъ.

Но тутъ выскочилъ адвокатъ.

Лицо у него стало багровымъ, глаза выкатились, шея налилась. Казалось, будто онъ подавился бараньей костью.

— Господа судьи!—воскликнулъ онъ.—Да, это онъ передъ вами, это Семень Рубашкинъ. Онъ авторъ статьи и распускатель слуховъ о роспускѣ первой Думы, статьи, подписанной только двумя буквами, но эти буквы С. Р. Почему двумя спросите вы. Почему не тремя, спрошу и я. Почему онъ, нѣжный и преданный сынъ, не помѣстилъ имени своего отца? Не потому-ли, что ему нужны были только двѣ буквы С. и Р.? Не является-ли онъ представителемъ грозной и могущественной партіи?

— Господа судьи! Неужели вы допускаете мысль, что мой довѣритель просто скромный газетный писака, обмолвившійся неудачной фразой въ неудачной статьѣ? Нѣтъ, господа судьи! Вы не вправѣ оскорбить его, который, можетъ быть, представляетъ собою скрытую силу, такъ сказать, ядро, я сказалъ бы, эмоциональную сущность нашего великаго революціоннаго движенія.

Вина его ничтожна—скажете вы. Нѣтъ!—воскликну я. Нѣтъ!—запротестую я.

Предсѣдатель подозвалъ судебного пристава и попросилъ очистить залъ отъ публики.

Адвокатъ отпилъ воды и продолжалъ:

— Вамъ нужны герои въ бѣлыхъ папахъхъ! Вы не признаете скромныхъ тружениковъ, которые не лѣзутъ впередъ съ крикомъ „руки вверхъ!“, но которые тайно и безыменно руководятъ могучимъ движеніемъ. А была-ли бѣлая папахъ на предводителя ограбленія московскаго банка? А была-ли бѣлая папахъ на головѣ того, кто рыдалъ отъ радости въ день убійства фонъ-деръ... Впрочемъ, я уполномоченъ своимъ кліентомъ только въ извѣстныхъ предѣлахъ. Но и въ этихъ предѣлахъ я могу сдѣлать многое.

Предсѣдатель попросилъ закрыть двери и удалить свидѣтелей.

— Вы думаете, что годъ тюрьмы сдѣлаетъ для васъ кролика изъ этого льва?

Онъ повернулся и нѣсколько мгновений указывалъ рукою на растерянное, вспотѣвшее лицо Рубашкина. Затѣмъ сдѣлавъ видъ, что съ трудомъ отрывается отъ величественнаго зрѣлища, продолжалъ:

— Нѣтъ! Никогда! Онъ сядетъ львомъ, а выйдетъ стоголавой гидрой! Онъ обовѣетъ, какъ боа констрик-

торъ, ошеломленного врага своего и кости административнаго произвола жалобно захрустятъ на его могучихъ зубахъ.

Сибирь-ли уготовали вы для него? Но, господа судьи! Я ничего не скажу вамъ. Я спрошу у васъ только—гдѣ находится Гершуни? Гершуни, сосланный вами въ Сибирь?

И къ чему? Развѣ тюрьма, ссылка, каторга, пытки (которыя, кстати сказать, къ моему довѣрителю почему-то не примѣнялись) развѣ все эти ужасы могли бы вырвать изъ его гордыхъ устъ хоть слово признанія или хоть одно изъ именъ тысячи его сообщниковъ?

Нѣтъ, не таковъ Семенъ Рубашкинъ! Онъ гордо взойдетъ на эшафотъ, онъ гордо отстранитъ своего палача, и сказавъ священнику „мнѣ не нужно утѣшенія!“ самъ надѣнетъ петлю на свою гордую шею.

Господа судьи! Я уже вижу этотъ благородный образъ на страницахъ „Былого“, рядомъ съ моею статьей о послѣднихъ минутахъ этого великаго борца, котораго стоустая молва сдѣлаетъ легендарнымъ героемъ русской революціи.

Воскликну же и я его послѣднія слова, которыя онъ произнесетъ уже съ мѣшкомъ на головѣ: „Да сгинетъ гнусное“...

Предсѣдатель лишилъ защитника слова.

Защитникъ повиновался, прося только принять его заявленіе, что довѣритель его Семенъ Рубашкинъ абсолютно отказывается подписать просьбу о помилованіи.

* * *

Судъ, не выходя для совѣщанія, тутъ же перемѣнилъ статью и приговорилъ мѣщанина Семена Рубашкина къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и преданію смертной казни черезъ повѣшеніе.

Подсудимаго безъ чувствъ вынесли изъ залы засѣданія



Въ буфетѣ суда молодежь сдѣлала адвокату шумную овацію.

Онъ привѣтливо улыбался, кланялся, пожималъ руки.

Затѣмъ, закусивъ сосисками и выпивъ бокаль пива, попросилъ судебного хроникера прислать ему корректуру защитительной рѣчи.

— Не люблю опечатокъ,—сказалъ онъ.



Въ корридорѣ его остановилъ господинъ съ перекосеннымъ лицомъ и блѣдными губами. Это былъ одинъ изъ пріятелей Рубашкина.

— Неужели все кончено! Никакой надежды?

Адвокатъ мрачно усмѣхнулся.

— Что подѣлаешь! Кошмаръ русской дѣйствительности!..

ВЕСЕЛАЯ ВЕЧЕРИНКА.

I.

Старуха Агафья успѣла ужъ убрать кухню и вычистить самовары, а Ванюшка-кучеръ все еще томился, ожидая возвращенія барина.

— Скоро одиннадцать — ворчала Агафья, вытирая толстыя, обнаженные по локоть руки и глядя изъ-под лобья на тоскующаго парня. — Другой бы матери помогъ, коли время вышло, а мой только на вечеринки ходить умѣетъ, да новые сапоги трепать. И въ кого такой вышелъ! Вѣдь уродить же Господь!

Ванюшка молчалъ, хотя рѣчь была направлена прямо противъ него, такъ какъ онъ какъ разъ приходился Агафѣѣ роднымъ сыномъ. Но ему было не до разговоровъ. Сегодня Танька, горничная земскаго начальника, устраиваетъ балъ. На балу будетъ только-что выслужившій свой срокъ солдатъ Марковкинъ. Онъ хочетъ Таньку сватать, это всѣ знаютъ, но Ванюшка давно рѣшилъ перешибить ему дорогу. Сегодня все выяснится. Отъѣдетъ солдатъ съ поломанными ребрами!

Ванюшка мечтательно улыбается, разглядывая новые сапоги. Его бѣлокурые волосы лоснятся отъ масла;

подъ воротникомъ голубой сатиновой рубашки красуется ярко розовый муаровый бантъ, и это сочетаніе цвѣтовъ во вкусѣ мадамъ Помнадуръ придаетъ удивительно глупый видъ его толстому, безусому и безбровому лицу.

— И куда пойдешь на ночь глядя?—ворчитъ мать, гремя посудой.—Угощеніе все равно ужъ все съѣдено. Теперь парни, вѣрно, ужъ драться начали, только даромъ шею намнутъ. Раньше двѣнадцати баринъ отъ лѣсначаго не вернется. Пока лошадь уберешь—вотъ и первый часъ.

Сынъ молча вздыхаетъ.

— Чего молчишь-то? Ты вотъ ленту муровую у матери выпросилъ, а ты думалъ-ли чего эта лента матери стоила? Я ее можетъ къ причастію надѣть и то жалѣла, на смертное платье берегла. Барышня покойница дарила, не знала, видно, что ты въ ней на вечеринкахъ, какъ лошадь, ржать будешь...

Снова молчаливый вздохъ.

— Думаешь, ленту напялилъ, такъ за тебя Танька замужъ пойдетъ? Нѣтъ, парень! Не нашему носу рябину клевать—это ягода нѣжная! Марковкинъ-то почище тебя.

— Еще ничего неизвѣстно — загадочно разинувъ ротъ, ухмыльнулся Ванюшка.

— Какъ неизвѣстно?—обрадовалась Агафья, что ей наконецъ удалось вызвать сына на пріятную бесѣду.— Все отлично извѣстно. Ничего у тебя нѣту, и въ кучеренкахъ-то тебя держутъ потому, что мать жалѣютъ. Не вѣкъ мнѣ тоже въ кухаркахъ быть. Скоро ноги протяну. Безъ меня дня не останешься.

II.

Во дворѣ залаяла собака.

Ванюшка вскочилъ и, закутавъ горло шарфомъ, чтобъ не слишкомъ поразить хозяина своимъ стилемъ Помпадуръ—пошелъ убирать лошадь.

Черезъ десять минутъ, бодро подскрипывая по твердому снѣжному насту бѣжалъ онъ къ дому земскаго начальника.

Маленькій городокъ давно уже успокоился. Фонари не горѣли, такъ какъ по календарю полагалась луна, почему-то въ этотъ день на небесное дежурство не явившаяся.

Въ окнахъ тоже было темно. Свѣтился только верхній этажъ городского клуба и трактиръ съ надписью „Для прѣзжаю“ („щихъ“ не помѣстилось).

Ванюшка пересѣкъ главную улицу и, свернувъ влѣво, юркнулъ въ ворота маленькаго двухъэтажнаго домика, занимаемаго земскимъ начальникомъ.

— Ну, куда же теперь? Тутъ темно, не напороться бы на что... Не то у ней кухня, наверху, не то внизу. Никогда не бывавши, тоже не сразу поймешь. Хоть бы вышелъ кто изъ парней...

Онъ повернулъ вправо и налѣзъ на какую-то обледѣвшую кадку. Прямо стѣна. Налѣво лѣстница. Входную дверь онъ, войдя машинально захлопнулъ и теперь никакъ не могъ сообразить, съ которой стороны онъ вошелъ.

Медленно, нащупывая ступеньки руками и ногами, влѣзъ онъ во второй этажъ. Здѣсь тоже оказалось темно, и онъ долго шарилъ руками, не находя дверей.

— Не!—вѣшилъ онъ.—Кухня у ней внизу. Надо

было тамъ нащупать, либо выйти и въ окошко постучать.

И онъ, стуча каблуками, бокомъ сталъ спускаться съ лѣстницы. Онъ былъ уже почти въ сѣняхъ, какъ вдругъ страшный дикій крикъ, раздавшійся снизу, остановилъ его.

— Кто здѣсь! Стой, чортъ тебя возьми, не то я буду стрѣлять!..

Ошеломленный Ванюшка замеръ на одномъ мѣстѣ. Послышалось шуршанье спичечной коробки. Вспыхнулъ огонекъ.

Мелькнуло испуганное свирѣпое лицо земскаго начальника.

— А-а, каналья! Попался! Я тебѣ покажу! Ты у меня узнаешь, гдѣ раки зимуютъ.

Ванюшка сдѣлалъ отчаянный прыжокъ, пытаясь увернуться отъ могучихъ рукъ земскаго начальника ловившихъ его впотъмахъ...

Бацъ! Бацъ! Одна рука крѣпко держитъ за шиворотъ голубую рубаху съ помпадуровымъ галстукомъ, другая, сжавшись въ кулакъ, дважды вѣхала въ Ванюшкину физиономію.

— Нѣтъ, голубчикъ, теперь не уйдешь!

И продолжая наколачивать своего плѣнника, спотыкаясь и крихтя, онъ поволокъ его вверхъ по лѣстницѣ.

Ванюшка молча упирался, медленно подвигался впередъ и отчаянно брыкалъ ногами.

III.

Ступеньки трещали, каблуки звонко щелкали и спавшей наверху супругѣ земскаго начальника почув-

дилось, будто какая-то взбѣсившаяся лошадь лѣзетъ къ ней по лѣстницѣ. Барыня зажгла свѣчку и испуганно крестясь, сидѣла на кровати. Дверь въ спальню съ трескомъ распахнулась.

— Машенька! Вотъ рекомендую!—тяжело отдуваясь, торжествовалъ земскій начальникъ. Онъ поставилъ Ванюшку передъ изумленной барыней, продолжая держать его за шиворотъ и изрѣдка потряхивая.

— А хорошъ молодецъ? Возвращаюсь отъ лѣсничаго, смотрю ворота настежъ. Подлѣя дѣвки со своими балами совсѣмъ одурѣли, ни за чѣмъ не смотрятъ. Завтра всѣхъ къ чорту. Поднимаюсь по лѣстницѣ... здравствуйте! Лѣзетъ, голубчикъ! Я его подстерегъ, даль немножко спуститься, да цапъ за шиворотъ. У меня не отвертишься.

— Да ты осторожнѣй, Коленька, можетъ быть, у него ножъ—плаксиво затынула супруга.

Ванюшка, съ перетянутымъ горломъ, молчалъ, тяжело дыша и только широко раскрывалъ ротъ какъ рыба, которую лишили родной стихіи.

— Да вѣдь я...—попробовалъ было онъ, но тяжелый кулакъ, вѣхавъ ему подъ самый глазъ, снова отнял у него даръ слова.

— Молчать! — заревѣлъ земскій начальникъ.—Еще разговаривать! Благодари Бога, что я полицію не зову. Другой бы сгноилъ тебя въ острогъ. Маршъ отсюда! Чтобъ духу твоего не было. И товарищамъ своимъ скажи, чтобъ дорогу ко мнѣ забыли.

И онъ снова собственноручно сволокъ Ванюшку съ лѣстницы, вытурилъ на улицу и заперъ ворота на засовъ.

Оставшись одинъ, Ванюшка пустился бѣжать безъ

оглядки и только въ концѣ улицы, немножко опомнился и оглядѣлся. Пиджакъ былъ разорванъ, изъ носу лила кровь, лицо горѣло и ныло. Ванюшка потеръ носъ снѣгомъ и захныкалъ.

— И чего онъ взбѣсился, чортъ окаянный! Что человѣкъ не въ ту дверь попалъ, такъ его по мордѣ лупить? Нѣтъ, это, братъ, тоже не показано! За это, братъ, тоже отвѣтить можешь. Закона такого нѣту, чтобъ народъ зря калѣчить.

Но вспомнивъ, что все равно теперь на вечеринку не попадешь—ворота заперты, да и въ такомъ видѣ куда ужъ тутъ, Ванюшка снова захныкалъ и, грустно опустивъ голову, побрелъ домой.

IV.

Двери отворила заспанная и сердитая Агафья.

— Что! Готово! Воротился! У него мать помираетъ, а онъ по баламъ какъ лошадь ржетъ. У матери поясницу ломить, а ему хоть бы что! Другой бы хоть колбасы кусокъ съ гостей-то принесъ бы. Нате, молъ, вамъ, мамаша, покушайте. Отецъ-то покойникъ бывало... Она зажгла лампочку и, взглянувъ сыну въ лицо, даже присѣла отъ изумленія.

— Батюшки свѣты! Родители вы мои долгоногіе! Да кто же это тебя такъ? Тутъ ужъ видно не одинъ, тутъ трое, либо четверо работало! Экъ тебя качаетъ. Ну, и нахлестался! Да скажи хоть слово.

Но Ванюшка молча стянулъ съ себя сапоги и, не раздѣваясь, легъ въ постель.

На другой день онъ проснулся поздно. Въ печкѣ трещали дрова, Агафья стучала ножемъ, а косоротал

баба, разносившая по городу булки и сплетни, оживленно что-то рассказывала. Ванюшка не вставая сталъ прислушиваться.

— Онѣ, видишь, дѣвки-то, какъ пошли на вечерину, ворота-то, стало быть, и не заперли. Подъ вечерину-то у Картонихи комнату нанимали, земскій-то въ домѣ и не позволилъ.

— Ч-чертъ!—чуть не вскрикнулъ Ванюшка.

— Ну, стало быть, разбойнику-то это и на руку. Онѣ наверхъ-то пролѣзъ, все до чистика обобралъ, только, значить, барыню собрался рѣзать, а самъ-то тутъ какъ тутъ!

— Ишь ты, думаетъ Ванюшка. Это видно ужъ послѣ меня кто-нибудь залѣзъ!

Господи помилуй!—шепчетъ Агафья.—И какой нонѣ отчаянный народъ пошелъ!

— Ну, земскій его колошматилъ, колошматилъ, однако, тотъ вырвался и убѣжалъ.

— Ужъ вѣрно ихъ гдѣ-нибудь цѣлая шайка, запрятавшись, была. Одинъ не поидеть,—додумалась Агафья.

— Земскій Егорку кучера и Таньку, обоихъ вонъ выгналъ. Ну да ей что! Ее вчера за солдата Марковкина просватали...

Со стороны кровати слышался тихій вой.

— Это что же?—удивилась торговка.

— Ванюшка съ перепою,—хладнокровно отвѣтила Агафья.

— Развѣ ужъ такъ напился?

— И-и! И не видывала никогда такихъ пьяныхъ. Что ни спросишь, молчить. Покойникъ мужъ бывало на четверенькахъ домой придетъ, а за словомъ въ карманъ не полѣзеть.

— А ты бы его керосинцемъ бы помазала.

— Нѣшто полегчаетъ отъ керосину-то?

— Еще какъ! Старуха, Аннушкина мать, что у головихи въ нянькахъ, все керосиномъ лѣчится. Не нахвалится. Какъ, говоритъ, натрусь да отхлебну ма-
ненько, такъ меня всю какъ огнемъ запалить. Прямо герпѣнья нѣтъ. Всякую боль отшибаетъ. Ничего ужъ гутъ не почувствуешь. На Рождествѣ ее головиха чуть вонъ не выгнала за керосинъ-то. Потерлась это она (простудившись была) и сидить въ кухнѣ на печкѣ. А головиха все ходить да принохивается. Вошла въ кухню, ну и поняла въ чемъ дѣло. Ругалась, ругалась! Вы меня, говоритъ, подлая, подъ кнуты подведете, я еще черезъ васъ Сибири нанюхаюсь. Упадетъ, говоритъ, на старуху спичка, ее какъ синь порохъ взорветъ. А я отвѣчай. Звѣрь—головиха-то.

— И какъ ему всю рожу раздѣляли,—съ плохо скры-
гой материнской гордостью говоритъ Агафья.—Это ужъ никто, какъ солдатъ. Я сразу солдатovu руку узнала. Губища—во! Прямо до полу свисла. Подъ глазомъ сивоподтекъ!

— Поди, по Танькѣ-то ревѣть будетъ,—не безъ зло-
радства вставляетъ торговка. Агафья иронически фыр-
каетъ.

— Очень нужно! Важное кушанье Танька-то ваша! Персона! Только и умѣть что господскія тарелки ли-
зать. Мой парень захочетъ жениться, такъ лучше най-
детъ. Эдакій парень—ягода наливная!

V.

За дверью со стороны хозяйскихъ комнатъ послы-
шался трескъ и какое-то глухое рычанье.

— Это у васъ что-же? любопытствуетъ торговка.

— Это баринъ чудить,—спокойно объясняетъ Агафья. Вѣрно, вчера у лѣсничаго въ карты проигрался. Онъ всегда такъ, какъ проиграется. Потому передъ барыней ему стыдно, вотъ онъ и оказываетъ себя.

Рычаніе приблизилось, сдѣлалось похожимъ на хриплый лай. Наконецъ, дверь распахнулась и на порогѣ показалась озвѣрѣлая всклокоченная фигура хозяина дома.

— Послать ко мнѣ Ваньку дармоѣда, — залаялъ онъ,—я ему покажу, какъ лошадь безъ овса оставлять!

Тррахъ—дверь захлопнулась, и вскочившая Агафья лопочетъ въ пустое пространство.

— Ванюшка хворый лежитъ!.. Точно такъ-съ! Онъ за водой ушедши!.. Точно такъ-съ! Сейчасъ его кликну.

Ванюшка испуганно натягиваетъ сапоги, не попадая въ нихъ ногами.

— Господи!—ахаеъ торговка.—Личико-то! Личико-то. Харю-то евонную посмотри!

Ванюшка ринулся во дворъ.

— Ишь, какимъ козыремъ, — ворчала вслѣдъ ему Агафья.—На мать и не взглянулъ. Другой-бы земляной поклонъ сдѣлалъ. Простите, молъ, маменька, что вы меня свиньей на свѣтъ родили.

Дверь съ трескомъ отворилась, и Ванюшка неестественно скоро вбѣжалъ въ кухню. Онъ растерянно оглядывался запухшими глазами и растиралъ рукой затылокъ?

— Хымъ! Хымъ — хныкалъ онъ — на старыя то дрожжи! Очень мнѣ нужно твое мѣсто. Я мѣстовъ сколько угодно найду. Не дорожусь.

— Мати Пресвятая Богородица!—заголосила Агафья.—

Прогналъ его баринъ, пьяницу, лежебоку-дармоѣдину! Куда-жъ я съ нимъ теперь... За что же онъ тебя выгналъ-то?

— Да, грить, зачѣмъ по баламъ шляюсь и зачѣмъ морду изувѣчилъ. На козлы, грить страмъ, посадить,—гнусить Ванюшка, туно смотря въ землю.

Торговка радостно волнуется и суетится, какъ репортеръ на пожарѣ.

— Такъ зачѣмъ же ты далъ эдакъ себя наколотить?—допытывается она.—Нѣшто можно столько человѣкъ на одного? Али ужъ очень выпивши былъ на вечеринкѣ-то?

VI.

Ванюшка вдругъ быстро-быстро захлопалъ глазами и, низко оттянувъ углы распыленного рта, жалобно всхлипнулъ.

— И нигдѣ я не былъ... И на вечеринкѣ не былъ...

— Господи! Навожденіе египетское! Такъ съ кѣмъ же ты дрался-то?

— И ни съ кѣмъ не дрался... На земскаго напоролся!..

— Молчи!—строго цыкнула Агафья.—За эдакія слова знаешь куда?! Что тебѣ земскій тынъ, аль частоколъ? Какъ ты на него напороться могъ, дуракъ ты урожденный.

И она уже занесла было свою карающую длань, но торговка властно остановила ее и, указавъ на Ванюшку, многозначительно постукала себя пальцемъ по лбу.

— Ишь ты,—опѣшила Агафья.—Отецъ-то покойничекъ тоже пивалъ. Только къ нему все больше эти, съ хвостиками, приходили. А земскій нѣтъ. Земскимъ его не, морочило.

— Вотъ что, парень, — дѣловымъ тономъ начала торговка. — Ты лягъ себѣ да отлежись. Вонъ, матка тебя керосинцемъ потретъ. А ужъ я твое дѣло улажу. Въ ножки поклонись. Да мнѣ не нужно, я вѣдь не гонюсь. Безъ мѣста, стало, не останешься. Земчиха меня сегодня просила, мужъ-то ейный Егорку-то изъ-за вора съ кучеровъ прогналъ, такъ вотъ, значить, не найду-ли я ей парня, чтобъ за лошадыю умѣлъ ходить. Я-то вѣдь еще не знала, что тебя выгонять. А вотъ теперь пойду да и предоставлю, что ты, молъ, желаешь.

Успокоившійся было Ванюшка вдругъ дико взвылъ и, выпучивъ въ ужасѣ подбитые синяками глаза, вско-чилъ на ноги.

Бабы шарахнулись въ сторону и, подталкивая другъ друга, вылетѣли во дворъ.

— Не! Тутъ керосинъ не поможетъ, — озабоченно разводя руками, — рѣшила торговка. — Бѣги матушка, къ головихѣ, у ейной старухи четверговая соль, даѣ ему съ хлѣбцемъ понюхать.

Агафья охала и чесала локти.

— Пойтить рассказать, — задумчиво прошептала торговка и, повертѣвъ головой, какъ ворона на цодоконникѣ, пустилась вдоль улицы.

И Г Р А.

Старому Беркѣ Идельсону денегъ за работу не выдали, а велѣли придти черезъ часъ.

Тащиться съ Песковъ на Васильевскій и опять черезъ часъ возвращаться—не было расчета и Берка рѣшилъ обождать въ скверикѣ.

Сѣлъ на скамеечку, осмотрѣлся кругомъ.

День былъ весенній, звонкій, радостный. Молодая трава зеленѣла, какъ сукно ломбернаго стола. Справа у самой дорожки распушился маленькій желтый цвѣточекъ.

Берка былъ усталый отъ безсонной ночи и сердитый, но, взглянувъ раза два на желтенькій цвѣточекъ, немножко отмякъ.

— Сижу, какъ дуракъ, и жду, а денегъ все равно не заплатятъ. Будутъ они платить, когда можно не платить!

Около скамейки играли дѣти. Два мальчика и дѣвочка. Рыли ямку и обкладывали ее камушками. Работалъ младшій, худенькій, черненькій мальчикъ; старшій командовалъ и только изрѣдка, вытянувъ коротенькую, толстую ногу, утапывалъ дно ямки. Дѣвочка была совсѣмъ маленькая, сидѣла на корточкахъ и подавала камушки, изрѣдка лизнувъ наиболѣе аппетитные.

Юдлетѣлъ воробей, попрыгалъ бокомъ и улетѣлъ.
Берка усмѣхнулся, оттянувъ внизъ углы рта.

— Дѣти, такъ ужъ дѣти,—подумалъ онъ,—и природа вообще—чего же вы хотите!

Ему захотѣлось принять участіе въ этомъ молодомъ веселомъ праздникѣ.

Онъ сдвинулъ брови и притворно сердитымъ голосомъ обратился къ дѣтямъ:

— А кто вамъ разрѣшилъ производить анженерскія работы? Я прекрасно вижу, что вы дѣлаете. А развѣ показано производить анженерскія работы? И здѣсь городское мѣсто.

Дѣти покосились на него и продолжали играть.

— И я знаю, что это не показано. Анженерскія работы производить не показано.

Толстый мальчикъ надулся, покраснѣлъ.

— Намъ сторожъ позволилъ.

Берка обрадовался, что мальчикъ откликнулся. Эге! Игра таки завязалась.

— Сторо-ожъ? Ну, такъ немного вашъ сторожъ понимаетъ. И какой у него образовательный цензъ? Ужъ тамъ, гдѣ на еврея три процента, тамъ на сторожа ни одного нѣтъ.

Маленькая дѣвочка, втянувъ голову въ плечи, заковыляла черезъ дорожку, уткнула голову въ нянькинъ передникъ и громко заревѣла.

Берка подмигнулъ мальчикамъ.

— Развѣ показано? Начальство узнаетъ—бѣда будетъ. Каторжныя работы. Сибирь.

Толстый мальчикъ засопѣлъ носомъ, взялъ брата за руку и пошелъ къ нянѣ.

Берка всталъ за ними.

Нянька сморкала дѣвочку и ворчала.

— Чего надо? Чего къ дѣтямъ приметываешься.

Но Берка уже разыгрался во всю.

— Развѣ показано производить анженерскія работы?—подмигивалъ онъ нянькѣ.—Это не показано.

— Намъ сторожъ позволилъ, — заревѣлъ вдругъ толстый мальчикъ.

— Сторо-ожъ? И гдѣ его цензъ?

Берка подмигнулъ желтенькому цвѣточку.

— Господи помилуй!—удивлялась нянька.—Никогда того не было! Ужъ ребенокъ не смѣй пескомъ играть! Указчикъ какой выискался! Скажите пожалуйста! Никогда никто не запрещалъ...

Подошелъ сторожъ.

— Что случилось? Вамъ, господинъ, чего надоть?

— Помилуй Богъ! Дѣти, такъ они дѣти. Развѣ показано анженерскія работы на городскомъ мѣстѣ! Не юказано.

Онъ подмигнулъ сторожу.

— Ты чего мигаешь?—озлился сторожъ.—Ты мнѣ не смѣй мигать. Я тебѣ такъ помигаю...

Берка слегка опѣшилъ, но, взглянувъ на желтенькій цвѣточекъ, сейчасъ же понялъ, что сторожъ шутить.

— Я мигаю? И зачѣмъ бы я имѣлъ мигать, когда мнѣ извѣстны законы военной имперіи.

— Къ дѣтямъ приметывается! Никому отъ него покою нѣту... Радъ со свѣту сжить...—пѣла нянька.—Говорять ему: сторожъ позволилъ. Нѣтъ, все ему мало. Сторожъ, вишь, не начальство.

— Вотъ какъ!—сказалъ сторожъ.—Ну ладно же. Я ему покажу, кто здѣсь начальство.

Онъ подошелъ къ рѣшеткѣ и свистнулъ.

Берка смотрѣлъ на приближающагося къ нему городского и дворника и говорилъ:

— Куды это они идутъ—несчастный служащій народъ? Можетъ, облава на какого мошенника? Только извините, господинъ сторожъ, я уже пойду, мнѣ уже некогда. Поигрался себѣ съ дѣтьми, а теперь долженъ идти на печальное дѣло. Ну... и почему вы меня держите за локоть? Господинъ сторожъ! Почему?

СЕМЕЙНЫЙ АККОРДЪ.

Въ столовой, около весело потрескивающего камина, сидитъ вся семья.

Отецъ, медленно ворочая языкомъ, рассказываетъ свои неприятныя дѣла.

— А онъ мнѣ говорить: «Если вы, Иванъ Матвѣвичъ, берете отпускъ теперь, то что же вы будете дѣлать въ мартѣ мѣсяцъ? Что, говорить, вы будете дѣлать тогда, если вы берете отпускъ теперь?» Это онъ мнѣ говорить, что, значить, почему я...

— Я дала задатокъ за пальто, — отвѣчаетъ ему жена, шлепая пасьянсъ, — и они должны сегодня пальто прислать. Не поспѣть же мнѣ завтра по магазинамъ болтаться, когда я утромъ на вокзалъ ѣду. Это надо понимать. Это каждый дуракъ пойметъ. Вотъ выйдетъ пасьянсъ, значить сейчасъ привезутъ.

— И если я теперь не поѣду, — продолжаетъ отецъ, — то, имѣя въ виду мартъ мѣсяцъ...

Дочка моетъ чайныя ложки и говорить, поворачивая голову къ буфету:

— Съ одной черной шляпой всю зиму! Покорно благодарю. Я знаю, вы скажете, что еще прошлогодняя есть. Въ васъ никогда не было справедливости...

— Десятка, пятерка, валетъ... Вотъ, зачѣмъ пятерка! Не будь пятерки,—валетъ на десятку, и вышло бы. Не можетъ быть, чтобъ они, зная, что я уѣзжаю, и опять-таки получивши задатокъ...

— А Зиночка вчера, какъ нарочно, говоритъ мнѣ: „А гдѣ же твоя шляпка, Сашенька, что съ зеленымъ перомъ? Вѣдь ты, говоритъ, хотѣла еще съ зеленымъ купить?“ А я молчу въ отвѣтъ, хлопаю глазами. У Зиночки-то, у самой десять шляпъ.

— Такъ и сказалъ: „Если вы, Иванъ Матвѣичъ, надумали взять отпускъ именно теперь, то, что именно будете вы“...

— Одна шляпка для свиданій, одна для мечтаній, одна для признаній, одна для купаній—красная. Потомъ съ зеленымъ перомъ, чтобъ на выставки ходить.

— Врутъ карты. Быть не можетъ. Разложу еще. Вонъ сразу двѣ семерки вышли. Десятка на девятку... Тузъ сюда... Вотъ этотъ пасьянсъ всегда вѣрно покажетъ... Восьмерка на семерку... Да и не можетъ быть, чтобъ они, получивши задатокъ, да вдругъ бы... Двойку сюда...

— А когда Зиновкина мать молода была, такъ она знала одну тетку одной актрисы. Такъ у той тетки по двадцати шляпъ на каждый сезонъ было. Я, конечно, ничего не требую и никого не попрекаю, но все-таки можно было бы позаботиться.

Она съ упрекомъ посмотрѣла на буфетъ и задумалась.

— Но, съ другой стороны,—затянулъ глава,—если бы я не взялъ отпуска теперь, а отложилъ бы на мартъ мѣсяцъ...

— Я знаю,—сказала дочь, и голосъ ея дрогнулъ.— Я знаю, вы опять скажете про прошлогоднюю шляпу. Но поймите же, наконецъ, что она была съ кукушечьимъ перомъ! Я знаю, вамъ все равно, но я-то, я-то больше не могу.

— Опять валетомъ затерло!

— Довольно я и въ прошломъ году намучилась! Чуть руки на себя не наложила. Пошла разъ гулять въ Лѣтній садъ. Хожу тихо, никого не трогаю. Такъ нѣтъ вѣдь! Идутъ двѣ какія-то, смотрятъ на меня, прошли мимо и нарочно громко: «Сидитъ, какъ дура, съ кукушечьимъ перомъ»! Вечеромъ маменька говоритъ: «Ѣшь простоквашу». Развѣ я могу? Когда у меня, можетъ быть, всѣ первы сдвинулись!..

— А въ мартѣ почему я знаю, что можетъ быть? А кто знаетъ, что можетъ въ мартѣ быть? Никто не можетъ знать, что, вообще, въ мартахъ бываетъ. И разъ я отпущъ...

— Вамъ-то все равно! Пожалѣйте, да поздно будетъ! Кукушечье перо... Ёду лѣтомъ изъ города, остановился нашъ поѣздъ у станціи, и станція-то какая-то самая дрянная. Прямо полустанокъ какой-то. Ей-Богу. Даже одинъ пассажиръ у кондуктора спросилъ, не полустанокъ-ли? И весь вокзалъ-то съ собачью будку. А у самага моего окна станціонный телеграфистъ стоитъ. Смотритъ на меня и говоритъ другому мужчинѣ: «Гляди. Ёдетъ, какъ дура, съ кукушечьимъ перомъ». Да нарочно громко, чтобы я слышала. А тотъ, другой, какъ зафыркаетъ. Умирать буду, вспомню. А вы говорите—шляпка. И вокзалъ-то весь съ собачью будку!

Дочка горько заплакала.

— Постой, постой! Вотъ сейчасъ, если король выйдетъ... Вѣчно лѣзутъ съ ерундой, не дадутъ человѣку толкомъ пасьянса разложить. Мнѣ вниманіе нужно. Вотъ куда теперь тройка дѣлась? Хорошо, какъ въ колодѣ, а какъ я пропустила, тогда что? Вѣдь если я сегодня пальто не получу, мнѣ завтра ни за что не выѣхать. Вотъ тройка-то гдѣ... Опять-таки пренебречь я не могу. Этакіе холода, что я тамъ безъ пальто заведу. Развѣ вы о матери подумаете! Вамъ все равно хоть... пятерка на четверку.

— А онъ мнѣ самъ сказалъ: поѣзжайте, Иванъ Матвѣичъ. Такъ и сказалъ. Я не глухой. А если онъ пасчетъ моего отпуска...

— Я всегда говорила, что у всѣхъ людей есть родители, кромѣ меня. Ни одного человѣка не было на свѣтѣ безъ родителя. Попробовали бы сами два года кукушкой ходить, коли вы такой добрый папенька! Такъ небось! Не люблю!

— Пойди посмотри... валета сюда... Кто-то въ кухню стучится... Двѣ двойки сразу...

Дочка уходить.

— Маменька, — кричитъ она изъ кухни. — Пальто вамъ принесли.

— Валетъ сюда... Подожди, не ори... Дама такъ.. Должна же я докончить. Тузъ... Нужно же узнать навѣрное про пальто... Пусть подождетъ на кухнѣ. Тройка... Опять не вышло. Разложу еще разъ!

ДАРОВОЙ КОНЬ.

Николай Иванович Уткинъ, маленькій акцизный чиновникъ маленькаго уѣзднаго городка, купилъ рублевый билетъ въ губернаторшину лоттерей и выигралъ лошадь.

Ни онъ самъ, ни окружающіе не вѣрили такому счастью. Долго провѣряли билетъ, удивлялись, ахали. Въ концѣ концовъ, отдали лошадь Уткину.

Когда первые восторги поулеглись, Уткинъ призадумался.

— Куда я ее дѣну? — думалъ онъ. — Квартира у меня казенная, при складѣ, въ одну комнату да кухня. Сарайчикъ для дровъ махонькій, на три вязанки. Конь-же животное нѣжное, не на улицѣ-же его держать.

Пріятели посовѣтовали попросить у начальства квартирныхъ денегъ.

— Откажись отъ казенной. Найми хоть похуже, да съ сарайчикомъ. А отказывать стануть — скажи, что, молъ, семейныя обстоятельства, гм... приращеніе семейства.

Начальство согласилось. Деньги выдали. Нанялъ Уткинъ квартиру и поставилъ лошадь въ сарай.

Квартира стоила дорого, лошадь ѣла много, и Уткинъ сталъ наводить экономію: бросилъ курить.

— Чудесный у васъ конь, Николай Ивановичъ,—сказалъ сосѣдній лавочникъ.—Безпремѣнно у васъ этого коня сведутъ.

Уткинъ безбеспокоился. Купилъ особый замокъ къ сараю.

Заинтересовалось и высшее начальство Николая Ивановича.

— Эге, Уткинъ! Да вы вотъ какой! У васъ теперь и лошадь своя! А кто-же у васъ кучеромъ? Сами, что-ли, хе-хе-хе!

Уткинъ смутился.

— Что вы, помилуйте-съ! Ко мнѣ сегодня вечеромъ общалъ придти одинъ парень. Все вотъ его и дожидался. Знаете, всякому довѣрить опасно.

Уткинъ нанялъ парня и пересталъ завтракать.

Голодный, бѣжалъ онъ на службу, а лавочникъ здоровался и ласково спрашивалъ:

— Не свели еще лошадку-то? Ну, сведутъ еще, сведутъ! На все свой часъ, свое время.

А начальство продолжало интересоваться.

— Вы что-же никогда не ѣздите на вашей лошади?

— Она еще не обѣзжена. Очень дикая.

— Неужели? А губернаторша на ней, кажется, воду возила. Странно! Только, знаете, голубчикъ, вы не вздумайте продать ее. Потомъ, со временемъ, это, конечно, можно будетъ. Но теперь, ни въ какомъ случаѣ! Губернаторша знаетъ, что она у васъ и очень этимъ интересуется. Я самъ слышалъ.—Я, говорить, отъ души рада, что осчастливила этого бѣднаго чело-

вѣка и мнѣ отрадно, что онъ такъ полюбилъ моего „Колдуна“. Теперь понимаете?

Уткинъ понималъ и, бросивъ обѣдать, ограничивался чаемъ съ ситникомъ.

Лошадь ѣла очень много. Уткинъ боялся ее и въ сарай не заглядывалъ. „Еще лягнетъ, жирная скотина. Съ нея не спросишь“.

Но гордился передъ всѣми попрежнему.

— Не понимаю, какъ можетъ человѣкъ при извѣстномъ достаткѣ, конечно, обходиться безъ собственныхъ лошадей. Конечно, дорого. Но зато удобство!

Пересталъ покупать сахаръ.

Какъ-то зашли во дворъ два парня въ картузахъ, попросили позволенія конька посмотрѣть, а если продадутъ, такъ и купить. Уткинъ выгналъ ихъ и долго кричалъ вслѣдъ, что ему за эту лошадь давно тысячу рублей давали, да онъ и слышать не хочетъ.

Слышалъ все это сосѣдній лавочникъ и неодобрительно качалъ головой.

— И напрасно вы ихъ только пуще разжигаете. Сами понимаете, какіе это покупатели!

— А какіе?

— А такіе, что воры. Конокрады. Пришли высмотрѣть, а ночью и слямзуютъ.

Затревожился Уткинъ. Пошелъ на службу, даже ситника не поѣлъ. Встрѣтился знакомый телеграфистъ. Узналъ, потужилъ и обѣщалъ помочь.

— Я, — говорить, — такой аппаратъ поставлю, что какъ, значить, кто въ конюшню влѣзетъ, такъ звонъ — трезвонъ по всему дому поидетъ.

Пришелъ телеграфистъ послѣ обѣда, работалъ весь

вечеръ, приладилъ все и ушелъ. Ровно черезъ полчаса затрещали звонки.

Уткинъ ринулся во дворъ. Одинъ идти оробѣлъ. Убьютъ еще. Кинулся въ клѣтушку, растолкалъ парня Ильюшку. А звонокъ все трещалъ, да трещалъ. Подошли къ сараю. Смотрять — замокъ на мѣстѣ. Осмѣлѣли, открыли двери. Темно. Лошадь жуеть. Осмотрѣли полъ.

— Ска-тина! — крикнулъ Уткинъ. — Это она ногой пастушила на проволоки. Ишь, жуеть. Хоть-бы ночью-то не ѣла. У насъ, у людей хоть какой будь богатый человѣкъ, а ужъ круглые сутки не позволить себѣ ѣсть. Свинство. Прямо не лошадь, а свинья какая-то.

Легъ спать. Едва успѣлъ задремать — опять трескъ и звонъ. Оказалось — кошка. На разсвѣтъ опять.

Совершенно измученный, пошелъ Уткинъ на службу. Спалъ надъ бумагами.

Ночью опять трескъ и звонъ. Проволоки, какъ идиотки, соединялись сами собой. Уткинъ всю ночь пробѣгалъ босикомъ отъ сарая къ дому и подъ утро захворалъ. На службу не пошелъ.

— Что я теперь? — думалъ онъ, уткнувшись въ подушку. — Развѣ я человѣкъ? Развѣ я живу? Такъ — пресмыкаюсь на чревѣ своемъ, а скотина надо мной парить. Не ѣмъ и не сплю. Здоровье потерять, со службы выгонять. Пройдетъ моя молодость за ничто. Лошадь все сожреть!

Весь день лежалъ. А ночью, когда все стихло и лишь слышалась порою трескотня звонка, онъ тихо всталъ, осторожно и неслышно открылъ ворота, прокрался къ конюшнѣ и, отомкнувъ дверь, быстро юркнулъ въ домъ.

Укрывшись съ головой одѣяломъ, онъ весело усмѣхался и подмигивалъ самъ себѣ.

— Что, объѣла? А? Недолго ты, матушка, поцарствовала, дромадеръ окаянный! Сволокутъ тебя анаѣмскіе воры на живодерню, станутъ изъ твоей шкуры, чтобъ она лопнула, козловые сапоги шить. Губернаторшинъ блюдолизъ! Вотъ погоди, покажутъ тебѣ губернаторшу.

Заснулъ сладко. Во снѣ ѣлъ алады съ медомъ.

Утромъ крикнулъ Ильюшку, спросилъ строгимъ голосомъ...—все ли благополучно?

— А все!

— А лошадь... цѣла? — почти въ ужасѣ крикнулъ Уткинъ.

— А что ей дѣлается.

— Врешь ты, мерзавецъ! Конскій холопы!

— А ей Богу, баринъ! Вы не пужайтесь. Конекъ вашъ цѣлехонекъ. Усѣ сѣно пожралъ, теперь овса домогается.

У Уткина отнялась лѣвая нога и правая рука. Лѣвой рукой написалъ записку:

„Никого не виню, если умру. Лошадь меня съѣла“.

ПЕРЕОЦѢНКА ЦѢННОСТЕЙ.

Петя Тузинъ, гимназистъ перваго класса, вскочилъ на стулъ и крикнулъ:

— Господа! Объявляю засѣданіе открытымъ!

Но гулъ не прекращался. Кого-то выводили, кого-то стучали линейкой по головѣ, кто-то собирался кому-то жаловаться.

— Господа!—закричалъ Тузинъ еще громче.—Объявляю засѣданіе открытымъ. Семеновъ второй! Навались на дверь, чтобы пригостишки не пролѣзли. Эй, помогите ему! Мы будемъ говорить о такихъ дѣлахъ, которыя имъ слышать еще рано. Ораторы, выходи! Кто записывается въ ораторы, подними руку. Разъ, два, три, пять. Всѣмъ нельзя, господа; у насъ времени не хватитъ. У насъ всего двадцать пять минутъ осталось. Ивановъ четвертый! Зачѣмъ жуешь? Сказано — сегодня не завтракать! Не слышалъ приказа?

— Онъ не завтракаетъ, онъ клячку жуетъ.

— То-то клячку! Открой-ка ротъ! Оедька, сунь ему палецъ въ ротъ, посмотри что у него. А? Ну то-то! Теперь прежде всего рѣшимъ, о чемъ будемъ разсуждать. Прежде всего, я думаю... ты что, Ивановъ третій?

— Плежде всего надо ласуждать плю молань,—
выступилъ впередъ очень толстый мальчикъ съ круг-
лыми щеками и надутыми губами. — Молань важнѣе
всего.

— Какая молань? что ты мелешь?—удивился Петя
Тузинъ.

— Не молань, а молаль!—поправилъ предсѣдателя
тоненькій голосокъ изъ толпы.

— Я и сказалъ молань!—падулся еще больше Ива-
новъ третій.

— Мораль? Ну хорошо, пусть будетъ мораль. Такъ
зпачить—мораль... А какъ это мораль... это про что?

— Чтобы они не лѣзли со всякой ерундой—вол-
нуясь заговорилъ черненькій мальчикъ съ хохломъ
на головѣ. То не хорошо, другое не хорошо. И этого
нельзя дѣлать, и того не смѣй. А почему нельзя—ни-
кто не говоритъ. И почему мы должны учиться? По-
чему гимназистъ непременно обязанъ учиться! Ни въ
какихъ правилахъ объ этомъ не говорится. Пусть мнѣ
покажутъ такой законъ, я можетъ быть тогда и послу-
шался бы.

— А почему тоже говорятъ, что нельзя класть
локти на столъ? Все это вздоръ и ерунда,—подхватилъ
кто-то изъ напиравшихъ на дверь. — Почему нельзя?
Всегда буду класть...

— И стобъ позволили зениться, —пискнулъ тонень-
кій голосокъ.

— Кричать „не смѣй воровать!“—продолжалъ маль-
чикъ съ хохломъ. Пусть докажутъ. Разъ мнѣ полезно
воровать...

— А почему вдругъ говорятъ, чтобъ я мѣху не

мучилъ?—забасилъ Петровъ второй. Если мнѣ доставляетъ удовольствіе...

— А мама говоритъ, что я долженъ свою собаку кормить. А съ какой стати мнѣ о ней заботиться? Она для меня никогда ничего не сдѣлала!..

— Стобъ не мѣсали вступать въ блакъ,—пискнулъ тоненькій голосокъ.

— А кромѣ того, мы требуемъ полного и тайнаго женскаго равноправія. Мы возмущаемся и протестуемъ. Иванъ Семенычъ намъ все колы лѣпнеть, а въ женской гимназіи дѣвчонкамъ ни за что пятерки ставить. Мнѣ Манька рассказывала...

— Подожди, не перебивай! Дай сказать! Почему же мнѣ нельзя воровать? Разъ это мнѣ доставляетъ удовольствіе.

— Держи двери! Напирай сильнѣй! Приготовишки ломаются.

— Тише! Тише! Петька Тузинъ! Предсѣдатель! Звони ключемъ объ чернильницу—чего они галдятъ!

— Тише, господа!—надрывался предсѣдатель.—Объявляю, что засѣданіе продолжается.

Ивановъ третій продвинулся впередъ.

— Я настаиваю, чтобъ ласуждали пло молань! Я хочу пло молань говолить, а Сенька мнѣ въ ухо дуеть! Я хочу, чтобъ не было никакой молани. Намъ должны все позволить. Я не хочу увазать лодителей, это унижительно. Сенька! Не смѣй мнѣ въ ухо дуть! И не буду слушаться сталшихъ, и у меня у самого могутъ лодиться дѣти... Сенька! Блосъ! Я тебѣ въ молду!

— Мы всѣ требуемъ свободной любви. И для женскихъ гимназій тоже.

— Пусть не заплецають намъ зениться!—пискнулъ голосокъ.

— Они говорятъ, что обижать и мучить другого не хорошо. А почему не хорошо? Нѣтъ, вотъ пусть объяснятъ почему не хорошо, тогда я согласенъ. А то эдакъ все можно выдумать: ѣсть не хорошо, спать не хорошо, носъ не хорошо, ротъ не хорошо. Нѣтъ, мы требуемъ, чтобы они сначала доказали. Скажите пожалуйста—«не хорошо». Если не учишься—не хорошо. А почему-же, позвольте спросить—не хорошо? Они говорятъ „дуракомъ выростешь“. Почему дуракъ не хорошо? Можетъ быть очень даже хорошо.

— Дулакъ это холосо!

— И по моему хорошо. Пусть они дѣлають по своему, я имъ не мѣшаю, пусть и они мнѣ не мѣшаютъ. Я вѣдь отца по утрамъ на службу не гоняю. Хочетъ, идетъ, не хочетъ—мнѣ наплевать.

Онъ третьяго дня въ клубъ шестьдесятъ рублей проигралъ. Вѣдь я же ему ни слова не сказалъ. Хотя можетъ быть мнѣ эти деньги и самому пригодились бы. Однако смолчалъ. А почему? Потому что я умѣю уважать свободу каждаго ин-ди...юн-ди...ви-ді-ума. А онъ меня по носу тетрадью хлопаетъ за каждую единицу. Это гнушно. Мы протестуемъ.

— Позвольте, господа, я долженъ все это занести въ протоколъ. Нужно записать. Вотъ такъ „Пратаколъ зась... „Засъ“ или „заси“? Засиданія. Что у насъ тамъ первое?

— Я говорилъ, чтобъ не приставали локти на стоуль...

— Ага! какъ же записать?... Не хорошо — локти. Я

напишу „оконечности“. „Протестъ противъ запрещенія класть на столъ свои оконечности“. Ну, дальше.

— Стобъ жениться...

— Нѣтъ, врешь, тайное равноправіе!

— Ну, ладно, я соединю. „Требуемъ свободной любви, чтобъ каждый могъ жениться и тайное равноправіе полового вопроса для дамъ, женщинъ и дѣтей“. Ладно?

— Тепель пло молань.

— Ну ладно. „Требуемъ перемѣнить мораль, чтобъ ее совсѣмъ не было. Дуракъ это хорошо“,

— И воровать можно.

— «И требуемъ полной свободы и равноправія для воровства и кражи и пусть все, что не хорошо, считается хорошо». Ладно?

— А кто укралъ, напиши, тотъ совсѣмъ не воръ, а просто такъ себѣ человѣкъ.

— Да ты чего хлопочешь? Ты не слимонилъ-ли чего-нибудь?

— Караулъ! Это онъ мою булку слопалъ. Вотъ у меня здѣсь сдобная булка лежала: а онъ все около нея бокомъ... Отдавай мнѣ мою булку!.. Сенька! Держи его подлеца! Вали его на скамейку! Гдѣ линейка?.. Вотъ тебѣ!.. Вотъ тебѣ!..

— А-а-а! Не буду! Ей богу не буду!..

— А, онъ еще щипаться!..

— Дай ему въ молду! Мелзавецъ! Онъ делется!..

— Загни ему салазки! Петька, заходи сбоку!.. Помогай!..

Предсѣдатель вздохнулъ, слѣзъ со стула и пошелъ на подмогу.

ПОЛИТИКА ВОСПИТЫВАЕТЪ.

Собрался онъ къ намъ погостить на нѣсколько дней и о прїѣздѣ своемъ извѣстилъ телеграммой.

Пошли на вокзалъ встрѣчать. Смотримъ во всѣ стороны, какъ бы не проглядѣть—давно не видѣлась и не узнать легко.

Вотъ видимъ вылѣзаетъ кто-то изъ вагона бочкомъ. Лицо перепуганное, въ рукѣ паспортъ. Кивнулъ головой.

— Дядюшка! Вы?

— Я! я! — говоритъ. Только вы, миленькіе, обождите, потому—я еще не обыскался.

Пошелъ прямо къ кондуктору, мы за нимъ.

— Будьте любезны, говоритъ, укажите, гдѣ мнѣ здѣсь обыскаться.

Тотъ глаза выпучилъ, молчитъ.

— Ваше дѣло, ваше дѣло. Я предлагалъ, тому есть свидѣтели.

Дяденька видимо обидѣлся. Мы взяли его подъ руки и потащили къ выходу.

— Разлѣнился народъ—ворчалъ онъ.

Привезли мы дядюшку домой, занимаемъ, угощаемъ. Объявилъ онъ намъ съ перваго слова, что прї-

ѣхаль развлекаться. «Закись въ провинціи, нужно душу отвести».

Стали мы его спрашивать, какъ молъ у васъ тамъ, говорятъ будто бы...

— Все вздоръ. Всѣ давно вернулись къ мирнымъ занятіямъ.

— Однако вѣдь во всѣхъ газетахъ было...

Но онъ и отвѣчать не пожелалъ. Попросилъ меня сыграть на роялѣ что-нибудь церковное.

— Да я не умѣю.

— Ну и очень глупо. Церковное всегда надо играть, чтобъ сосѣди слышали. Купи хоть граммофонъ.

Къ вечеру дяденька совсѣмъ развинулся. Чуть звонокъ, бѣжитъ за паспортомъ и велитъ всѣмъ руки вверхъ поднимать

— Дяденька, да вы не больны-ли?

— Нѣтъ, миленькіе, это у меня отъ политическаго воспитанія. Оборотистый я сталъ человѣкъ. Знаю, что гдѣ и когда требуется.

Легъ дяденька спать, а подъ подушку „Новое Время“ положилъ, чтобъ худые сны не спились.

На утро попросилъ меня свести его въ сберегательную кассу.

— Деньги дома держать нельзя. Если меня дома грабить станутъ—непремѣнно убьютъ. А въ кассѣ грабить станутъ, такъ убьютъ не меня, а чиновника.

Поняли? Эхъ вы, дурашки!

Поѣхали мы въ кассу. У дверей городской стоитъ. Дяденька засуетился.

— Милый другъ! Ради Бога, дѣлай невинное лицо. Ну, что тебѣ стоитъ! Ну ради меня, вѣдь я же тебѣ родственникъ!

— Да какъ же я могу! — удивляюсь я. — Вѣдь я же ни въ чемъ не виновата.

Дядюшка такъ и заметался.

— Погубить! Погубить! Смѣйся хоть по крайней мѣрѣ верещи что-нибудь...

Вошли въ кассу.

— Фу! — отдувался дяденька. Вывезла кривая. Богъ не безъ милости. Умный человѣкъ вездѣ побывать можетъ: и на почтѣ и въ банкѣ, и всегда сухъ изъ воды выйдетъ. Не надо только распускаться.

Въ ожиданіи своей очереди дяденька неестественно громкимъ голосомъ сталъ рассказывать про себя очень странныя вещи.

— Эти деньги, другъ мой, — говорилъ онъ, — я въ клубъ наигралъ. День и ночь дулся, у меня еще больше было, да я остальное проигралъ. А это вотъ пока что спрячу здѣсь, а потомъ тоже пропью, непременно пропью.

— Дяденька! — ахала я. — Да вѣдь вы же никогда картъ въ руки не брали! Да вы и не пьете ничего!..

Онъ въ ужасѣ дергалъ меня за рукавъ и шипѣлъ мнѣ на ухо: „Молчи! Погубишь! Это я для нихъ. Все для нихъ. Пусть считаютъ порядочнымъ человѣкомъ“.

Изъ сберегательной кассы отправились домой пѣшкомъ. Прогулка была не веселая. Дяденька во все горло кричалъ про себя самыя скверныя вещи. Прохожіе шарахались въ сторону.

— Ладно, ладно, — шепталъ онъ мнѣ. — Ужъ буду не я, если мы благополучно до дому не дойдемъ. Умный человѣкъ все можетъ. Онъ и въ банкѣ побываетъ и по улицѣ погуляетъ и все ему какъ съ гуся вода.

Проходя мимо подворотнаго шника, дяденька тихо,

но съ неподдѣльнымъ чувствомъ пропѣлъ: „Мнѣ вѣрить хочется, что этихъ глазъ сіянье!“...

Мы были уже почти дома, когда произошло нѣчто совершенно неожиданное. Мимо насъ проѣзжалъ генералъ; самый обыкновенный толстый генералъ на красной подкладкѣ. И вдругъ мой дяденька какъ-то странно пискнулъ, и, мгновенно повернувшись спиной къ генералу, простеръ къ небу руки. Картина была жуткая и величественная. Казалось, что этотъ благородный сѣдовласый старецъ въ порывѣ неизъяснимаго экстаза благословляетъ землю...

Вечеромъ дяденька запросился въ концертъ. Внимательно изучивъ программу удовольствій, онъ остановилъ свой выборъ на благотворительномъ музыкально-вокальномъ вечерѣ.

Поѣхали.

Запѣлъ господинъ на эстрадѣ какое-то «Пробужденіе весны». Дяденька весь насторожился.—«А вдругъ это какая-нибудь эдакая аллегорія. Я лучше пойду покурю».

Кончилось пѣніе. Началась декламація. Вышла барышня, стала декламировать „Письмо“ Апухтина. Дяденька сначала все радовался. «Вотъ это мило! Вотъ молодецъ-дѣвица. И комаръ носа не подточитъ». Хвалилъ, хвалилъ, да вдругъ какъ ахнетъ. Схватилъ меня за руку, да къ выходу.

— Дяденька! Голубчикъ! Что съ вами!

— Молчи, говоритъ, молчи! Скорѣе домой. Дома все скажу.

Дома потребовалъ отъ меня входные билеты съ концерта, сжегъ ихъ на свѣчкѣ и пепель въ окно бро-

силъ. Затѣмъ сталъ вещи укладывать. Мы просили, уговаривали. Ничто не помогло.

— Да вы хоть скажите, дяденька, что васъ побудило.

— Не притворяйся, говорить, сама слышала, что она сказала. Отлично слышала.

Насилу уговорили рассказать. Закрылъ всѣ двери.

— Она, говорить, сказала „Воспоминанье гложетъ, какъ злой палачъ, какъ милый властелинъ“.

— Такъ что же изъ этого? — Удивляюсь я. Вѣдь это стихи Апухтина.

— Что изъ этого? — говорить онъ жуткимъ шопотомъ. — Что изъ этого? «Гложетъ, какъ милый властелинъ». Статья 121, вотъ что изъ этого. Пятнадцать лѣтъ каторжныхъ работъ, вотъ что изъ этого. Идите вы, если вамъ нравится, а я, миленькіе, старъ сталъ для такихъ штукъ. Мнѣ и здоровье не позволить.

И уѣхалъ.

СЕМЬЯ РАЗГОВЛЯЕТСЯ.

— Поѣдѣмте къ намъ,—упрашивали знакомые, когда стали расходиться изъ церкви.—Поѣдѣмте, вмѣстѣ разговѣмся.

Но Хохловы поблагодарили и съ достоинствомъ отказывались.

— Нѣтъ ужъ, мы всегда дома! Ужъ это такой праздникъ—сами понимаете... Вся семья должна быть въ сборѣ. Мы всегда дома разговляемся, всѣ вмѣстѣ, сами понимаете... И дѣтки ждаль будутъ, какъ же можно?..

Распрощались, поздравились, поѣхали домой.

Колокола гудятъ, на улицахъ толпа народа.

Радостно, торжественно.

Хохловъ говорить женѣ:

— Швейцару пять, старшему дворнику пять...

— Посмотри, какой красивый вензель на подъѣздѣ,—перебываетъ жена.—Надо шесть. Прибавь рубль, а то сразу начнетъ съ квартирными приставать.

— Все равно, рублемъ не замажешь... Для фрейлейнъ что купила?

— Браслетку,—вздыхнула жена.—За шесть рублей, дутая, но очень миленькая. И потомъ, я на коробочку

попросила другую цѣну накленъ. Приказчикъ очень симпатичный, написалъ—двѣнадцать съ полтиной. По моему, это даже еще естественнѣе, чѣмъ, напримѣръ, просто тринадцать или двѣнадцать. Неправда-ли? Но до чего я устала со всѣми этими дразгами! Обо всѣхъ нужно подумать, а вѣдь я одна. Поручить некому, а у всѣхъ претензіи. Глаша (вообрази себѣ нахальство!) подходит ко мнѣ на-дняхъ и заявляетъ: „будете для меня подарокъ покупать—купите коричневаго бордо на платье“. Каково! И вѣдь прекрасно знаетъ, что я сама коричневое ношу!

— Распущенность! Сама виновата. Не надо распускать.

Пріѣхали.

Швейцаръ торжественно распахнулъ двери.

— Христось Воскресе! Съ праздникомъ ваша милость!

Эту радостную вѣсть первыхъ христіанъ онъ произнесъ такъ спокойно и почтительно, словно докладывалъ: „тутъ безъ васъ господинъ приходили“.

А Хохловъ молча вытянулъ изъ-подъ отворота шубы бумажникъ, нахмурившись, вынулъ пять рублей и отдалъ ихъ швейцару.

— Началось!—вдохнула жена.

Поднялись по лѣстницѣ.

На звонокъ отворила горничная и неестественно-оживленно поздравила.

— Подарокъ послѣ отдамъ,—сказала барыня и подумала: и чего это дура радуется? Воображаетъ какется, что я ей коричневаго купила.

Въ столовой ждали двѣ дѣвочки.

— Мама!—сказала одна. — Катя отъ большого кулича изюмину выколунала. Теперь тамъ дырка.

— А Женя пасху руками трогала.

— Очень мило! Очень мило!—запѣла мать. — Вотъ какъ вы встрѣчаете родителей. Въмѣсто того, чтобы похристосоваться и поздравить съ праздникомъ, вы вотъ какъ... А гдѣ ваша фрейлейнъ? Куда она дѣвалась?

— Фрейлейнъ въ гостинной, въ зеркало смотрится,—отвѣчали дѣвочки дуэтомъ.

— Часъ отъ часу не легче! Жалованье платишь, подарки покупаешь, а уйдешь изъ дому лобъ перекрестить, и дѣтей оставить не на кого. Фрейлейнъ Эмма! Гдѣ же вы?

Вошла фрейлейнъ, съ напряженно-праздничнымъ лицомъ. Въ волосахъ кокетливо извивалась старая застиранная лента.

Фрейлейнъ сдѣлала полупоклонъ, полуреверансъ, то есть, склонивъ голову, слегка лягнула ногой подъ юбкой и сказала:

— Ich gratuliere...

— Это очень хорошо, моя милая, — перебила ее хозяйка, — но вы также не должны забывать свои обязанности. Дѣти шалятъ, портятъ куличи...

У вѣмки сразу покраснѣлъ носикъ.

— Я гаварилъ Катенько, а Катенько отвѣпала, что кулишъ не святой. Я не знаю русски обыпай, што я могу?

— Ну, перестаньте! Объ этомъ потомъ поговоримъ. А гдѣ Петя?

— Петя пошелъ къ заутрени во всѣ церкви сразу,—отвѣчалъ дуэтъ. — Я говорила, что мама разсердится

а онъ говоритъ, что онъ не просилъ васъ, чтобы вы его рождали и что вы не имѣете права вмѣшиваться.

— Ахъ, дрянъ эдакая! Охъ, безсовѣстный! — заку-
дажала мать.

— Въ чемъ дѣло? — спросилъ, входя, Хохловъ. — Вотъ вамъ подарокъ. Фрейленъ, вамъ браслетка. А вамъ дѣти — крокетъ.

Дѣти надулись.

— Какой же подарокъ! Крокетъ вовсе не подарокъ. Крокетъ еще въ прошломъ году обѣщали безъ всякаго праздника.

— Цыцъ! Вонъ пошли! Сидите смирно или убирайтесь вонъ изъ комнаты! Не дадутъ отцу — матери разговѣться спокойно. Гдѣ Петька?

— Во всѣ церкви пошелъ... не имѣете права вмѣшиваться... онъ не просилъ, — отвѣчалъ дуэтъ.

— Что такое? Ничего не понимаю. Вотъ я ему уши надеру, какъ вернется. Будетъ помнить! Не давать ему ни кулича, ни пасхи! Эдакая дрянъ!

Хохловъ сѣлъ за столъ.

— Это что? Поросенокъ? Чего ты тамъ въ него на-
тыкала? И къ чему было фаршировать, когда я ничего фаршированного въ ротъ не беру! Только добро портятъ. Мужъ горбомъ выколачиваетъ гроши, а вы хоть бы подумали, легко-ли это ему дается. Вы только сидите, да фаршируете! Эдакъ, матушка, ты хоть миллионъ профаршируешь, разъ въ тебѣ нѣтъ никакой самокритики. Такъ тоже цельзя! Ну къ чему здѣсь, спрашивается, огурецъ лежить? Ну кого ты думала огурцомъ удивить?

— Да я думала, что, можетъ быть, Августъ Ивановичъ разговѣться зайдетъ.

— Августъ Иванычъ! Очень ты его огурцомъ удивишь! Одна фанаберія. Передай сюда яйца.

Хохловъ треснулъ яйцомъ объ край тарелки. Жидкій желтокъ брызнулъ ему на жилетку и пошелъ по пальцамъ.

— Это что? А? Въ смятку! Позвать сюда Мавру! Позвать сюда мерзавку, которая на Пасху яйца въ смятку варить. А? Каково? Двѣнадцать рублей жалованья, яицъ сварить не умѣетъ!

Вошла кухарка, встала у дверей.

— Это что?—А? Это крутое яйцо? А?

— Виновата-съ! Къ нему въ нутро тоже не влезешь. Кто его знаетъ, отчего оно не сварилось... Я вѣдь тоже не Святъ Духъ!...

— Скажи лучше, что ты мнѣ съ жилеткой сдѣлала! У меня жилетъ тридцать рублей стоитъ; я его десять лѣтъ ношу, а ты мнѣ его въ одинъ мигъ уничтожила! Съ меня подарковъ требуешь, а сама меня по міру норовишь пустить! Вонъ! Чтобъ духу твоего... Кто тамъ звонить? Ага, Петя! Тебя-то мнѣ и нужно! Ты какъ смѣлъ безъ спросу въ церковь уйти? А? Отвѣчай!

— Да что-жь, когда вы не пускаете! Я вѣдь тоже человѣкъ. У меня религіозная потребность...

— Ахъ ты, поросенокъ! Скажите, пожалуйста, какія онъ отцу слова говоритъ! Отецъ на нихъ работаетъ, отецъ ихъ воспитываетъ, одѣваетъ, обуваетъ, ночей не спитъ, да думаетъ, какъ бы имъ хорошо было...

— А гдѣ подарки?

— Слушаться не хотятъ, а о подаркахъ не забудутъ. Тебѣ мать коньки купила, только я ихъ тебѣ не дамъ! Нѣтъ, братецъ! Ты воображаешь...

— Не надо мнѣ вашихъ коньковъ! Кто-жъ къ лѣту копыки дарить! Все только нарочно!

— Самъ же всю осень нылъ, что коньковъ нѣтъ!..

— Такъ это осенью было! А теперь я же вамъ намекалъ, что мнѣ удочка нужна. Если вы отецъ, такъ вы и должны относиться по родительски.

— Ахъ ты, поросенокъ! Вонъ отсюда! Ничего не получишь! Не давать ему ничего! Ни кулича, ни пасхи! Ничего!

— А, такъ вотъ же вамъ!

Петя шлепнулъ ладонью по пасхѣ и удралъ въ свою комнату.

— Пойду отдамъ прислугѣ подарки,—сказала Хохлова и встала изъ-за стола.

Мужъ остался одинъ и долго молча жевалъ.

— Ну, что, рады небось?—спросилъ онъ, когда жена вернулась.

— Развѣ ихъ чѣмъ-нибудь обрадуешь! Даже не поблагодарили... Глаша говоритъ, что фрейлейнъ плачетъ.

— Чего она?

— Браслетка не нравится. Не къ лицу.

— Вотъ дура!

— Такая миленькая браслетка. И два сердечка подвѣшаны. Имъ все мало!

— Ну, вотъ и разговѣлись. Теперь можно и на боровую. Слышишь? Что это тамъ за трескъ? А?

— Ничего. Это дѣвченки крокетъ ломаютъ.

— Эдакія дряни! Вотъ я имъ ужо!!

ПЯНЬКИНА СКАЗКА ПРО КОБЫЛЬЮ ГОЛОВУ.

Ну, а вы какого мнѣнія относительно совмѣстнаго воспитанія мальчиковъ и дѣвочекъ?—спросила я у своей сосѣдки по five o'clock'у.

— Какъ вамъ сказать!.. Если бы дѣло шло о воспитаніи меня самой, то, конечно, я была бы всецѣло на сторонѣ новыхъ вѣяній. Ахъ, это было бы такъ забавно. Маленькіе романы... Сцены ревности за уроками чистописанія, самоотверженная подсказка... Да, это очень увлекательно! Но для своихъ дочерей я предпочла бы воспитаніе по старой методѣ. Какъ-то спокойнѣе! И знаете-ли, мнѣ кажется, все-таки непріятно было бы встрѣтиться гдѣ-нибудь въ обществѣ съ господиномъ, который когда-то при васъ спрягалъ: «*Nous avons, vous avons, ils avont*»... или еще того хуже! Такія воспоминанія очень расхолаживаютъ.

— Все это вздоръ!—перебила ее хозяйка дома.—Не въ этомъ суть! Главное, на что должно быть обращено вниманіе родителей и воспитателей, — это развитіе въ дѣтяхъ фантазій.

— Однако?—удивился хозяинъ и пожевалъ губами, очевидно собираясь сострить.

— *Finissez!* Никакихъ боннѣ и гувернантокъ! Ника-

кихъ. Нашимъ дѣтямъ нужна русская нянька! Простая русская нянька — вдохновительница поэтовъ. Вотъ, о чемъ прежде всего должны озаботиться русскія матери.

— Pardon!—вставила моя сосѣдка.—Вы что-то сказали о поэтахъ... Я не совсѣмъ поняла.

— Я сказала, что русская литература многимъ обязана нянькѣ. Да! Простой русской нянькѣ! Лучшій нашъ поэтъ, Пушкинъ, по его же собственному признанію, былъ вдохновленъ нянькой на свои лучшія произведенія. Вспомните, какъ отзывался о ней Пушкинъ:

„Голубка дряхлая моя... голубка дряхлая моя... со-
кровища мои на днѣ твоёмъ таятся“...

— Pardon,—вмѣшался молодой человекъ, припод-
нявъ голову надъ сухарницей,—это какъ будто къ чер-
нильницѣ...

— Что за вздоръ! Развѣ чернильница можетъ нян-
чить. А всѣ эти дивныя произведенія! „Русланъ и
Людмила“, „Евгеній Онегинъ“,—вѣдь всему этому на-
учила его нянька!

— Неужели и „Евгеній Онегинъ“? — усомнилась
моя сосѣдка.

— Удивительно! — мечтательно сказалъ хозяинъ
дома,—такая дивная музыка... И все это нянька!

— Finissez! Только теперь я и чувствую себя спо-
койно, когда взяла къ дѣтямъ милую старушку. Она
каждый вечеръ рассказываетъ дѣтямъ свои очарова-
тельные сказочки.

— Да, но съ другой стороны, излишняя фантазія
тоже вредна!—замѣтила моя сосѣдка.—Я знала одного
дантиста... Такъ онъ ужасно много о себѣ воображалъ...
То есть, я не то хотѣла сказать...

Она слегка покраснѣла и замолчала.

— А сколько возни было съ этими бопами! Была сначала швейцарка. Боже мой, какъ она насъ замутила! Иванъ Андреичъ до сихъ поръ безъ содроганія о ней вспомнить не можетъ. Представьте себѣ, — чѣмъ она насъ донимала?—Аккуратностью. Каждое утро всѣ оконныя стекла зубной щеткой чистила. Порядки завела прямо необыкновенные. Заставила въ три часа обѣдать, а ужинать совсѣмъ запретила. Иванъ Андреичъ сталъ въ клубъ ѣздить, а я потихоньку къ Филиппову бѣгала пирожки ѣсть. Теперь положительно сама не понимаю, какъ она такую власть надъ нами забрала. Прямо цикнуть не смѣли!

— Говорятъ, есть такіе флюиды... — вставилъ хозяинъ, сдѣлавъ умное лицо.

— Finissez! Наконецъ, избавились отъ нея. Взяла нѣмку. Все шло недурно, хотя она сильно была похожа на лошадь. Отпустилъ ее съ дѣтьми гулять, а издали кажется, будто дѣти на извозчикѣ ѣдутъ. Не знаю, можетъ быть, другимъ и не казалось, но мнѣ, по крайней мѣрѣ, казалось. Каждый можетъ имѣть свое мнѣніе. Тѣмъ болѣе, я—мать.

Мы не спорили, и она продолжала.

— Прихожу я разъ въ дѣтскую, вижу—Надя и Леся укачиваютъ куколъ и какую-то нѣмецкую пѣсенку напѣваютъ. Я сначала даже обрадовалась — успѣху въ нѣмецкомъ языкѣ. Потомъ, какъ прислушалась — Господи, что такое! Ушамъ своимъ не вѣрю: „Wilhelm schlief bei seiner neuen Liebe!“—Выводятъ своими тоненькими голосками. Я прямо чуть съ ума не сошла.

Въ комнату вошла горничная и что-то доложила хозяйкѣ дома.

— А-а! вотъ и отлично! Тенерь шесть часовъ, и няня сейчасъ начнетъ разсказывать дѣтямъ сказку. Если хотите, господа, полюбоваться на эту картинку въ жанрѣ... въ жанрѣ... какъ его? Ихъ еще два брата...

— Карлъ и Францъ Моръ — подсказаль молодой человѣкъ.

— Да, — согласилась было хозяйка, но тотчасъ спохватилась. — Ахъ нѣтъ, на „Д“...

— Решке, что-ли? — помогъ мужъ.

— Finissez! Въ жанрѣ... въ жанрѣ Маковского.

— Такъ вотъ — картинка въ жанрѣ Маковского. Я всегда обставляю это такъ фантастично. Зажигаемъ лампадку, няня садится на коверъ, дѣти вокругъ. C'est poétique. Такъ что же, — пойдемте?

Мы согласились, и хозяйка повела насъ въ кабинетъ мужа и, тихонько пріоткрывъ дверь въ сосѣдную комнату, знакомъ пригласила насъ къ молчанію и вниманію.

Въ дѣтской, дѣйствительно, было полутемно. Горѣла только зеленая лампадка. И тихо. Скрипучій старушинчій голосъ прорывался сквозь шамкающія губы и тягуче разсказывалъ:

«Въ нѣкоторомъ царствѣ да не въ нашемъ государствѣ, жилъ былъ старикъ со старухой, старые престарые и дѣтей у нихъ не было.

Вотъ погореваль старикъ, погореваль да и пошелъ въ лѣсъ дрова рубить.

Рубить, рубить, вдругъ откуда ни возьмись выкатилась изъ лѣсу кобылья голова.

— Здравствуй, говоритъ, папаша!

Испугался мужикъ, однако дѣлать нечего.

— Какой, говоритъ, я тебѣ, кобылья голова, папаша?

— А такой, что ве́ди меня къ себѣ въ избу жить.

Потужилъ мужикъ, потужилъ, однако видитъ дѣлать нечего. Повелъ онъ кобылью голову къ себѣ домой.

Подкатилась кобылья голова подъ лавку, три года жила, пила, ѣла, мужика папашей звала.

Какъ на третій годъ выкатилась кобылья голова изъ подъ лавки и говоритъ мужику:

— Папаша, а папаша, я жениться хочу!

Испугался мужикъ, однако дѣлать нечего.

— На комъ-же ты, спрашиваетъ, кобылья голова, жениться хочешь?

— А такъ что, говоритъ, иди ты во дворецъ и сватай за меня царскую дочку.

Потужилъ мужикъ, потужилъ, однако дѣлать нечего. Пошелъ во дворецъ.

А во дворцѣ царская дочка жила. Красавица раскрасавица. Носикъ у ей востренькій, а глаза маленькіе, что серпомъ прорѣзаны.

И живетъ она богато богатѣюще.

Все то у нея есть, что только ея душенькѣ угодно. Пьетъ она вино шампаньское, ѣстъ она масло параваньское, пряникомъ непечатнымъ закусываетъ. А платье на ней съ тремъ оборкамъ и манчестеромъ отдѣлано.

А во дворцѣ-то палаты огромныя, ни перомъ описать. Самъ царь отъ стула до стула на тройкѣ ѣздитъ.

А и слугъ во дворцѣ видимо-невидимо. Въ каждомъ углу по пятьсотъ человѣкъ ночуетъ.

Сталъ старикъ царскую дочку за кобылью голову сватать.

Потужилъ царь, потужилъ, однако видитъ дѣлать нечего. Отдалъ дочку за кобылью голову.

Стали свадьбу играть, пошелъ пиръ горой. Поставилъ царь и соленого и моченаго и жаренаго и варенаго, а старику подарилъ съ своего царскаго плеча лапотки новехонькіе да кафтанъ золоченый на бумазеѣ стеганный и палаты каменны и пирога кромку.

Пошелъ старикъ къ своей старухѣ! Стали они жить поживать да дѣтей паживать. По усамъ текло, а въ ротъ не попало!

— *C'est fantastique!*—хрюкнулъ молодой человѣкъ, зажавъ ротъ рукой.

— *Tes! revenons въ гостиную!*

СТРАШНЫЙ УЖАСЪ.

(Рождествен. рассказъ).

Кто не знаетъ страшныхъ рождественскихъ мятелей, когда завываніе вѣтра смѣшивается со свистомъ бури, когда облака какъ будто хотятъ сѣсть на землю, когда все богатое торжествуетъ на елкахъ, а бѣдняки замерзаютъ у дверей своихъ обезпеченныхъ сосѣдей, причиняя этимъ имъ непріятность!..

Самый яркій вымыселъ рождественскаго фельетониста, одобреннаго хорошимъ авансомъ, блѣднѣетъ передъ дѣйствительностью.

Николай Коньковъ! Маленькій ребенокъ—Коля Коньковъ, замерзшій и занесенный снѣгомъ въ лютую рождественскую ночь!

О немъ хочу я вамъ рассказать.

Николай Коньковъ былъ ребенкомъ (кто изъ насъ не былъ ребенкомъ?)

Онъ былъ, собственно говоря, даже болѣе чѣмъ ребенокъ, такъ какъ ему было уже тридцать пять лѣтъ. Когда онъ пріѣхалъ въ Петербургъ въ одну изъ вышеописанныхъ ужасныхъ рождественскихъ ночей.

Правда—ни мороза, ни мятели въ эту ночь не было,

такъ какъ дѣло происходило въ срединѣ іюля мѣсяца.

Да и ночи, собственно говоря, тоже никакой не было: поѣздъ пришелъ ровно въ 10 утра.

Но что-же изъ этого?

Пріѣхалъ онъ изъ своего имѣнія освѣжиться. Въ городѣ есть особая свѣжесть, которой въ деревнѣ ни за какія деньги не достанешь.

Коньковъ ѣздилъ обыкновенно за свѣжестью въ Москву, въ Петербургѣ же былъ новичкомъ, и потому съ дѣвственной безпечною довѣрился извозчику.

Тотъ привезъ его въ меблированныя комнаты на Пушкинской. Коньковъ сунулъ швейцару свой чемоданъ и побѣждалъ искать парикмахерскую.

Онъ былъ франтъ.

Вышелъ изъ парикмахерской и шелъ домой, на-свистывая, ровно ничего не подозрѣвая.

А домой то онъ и не попалъ!

Въ Петербургѣ каждому ребенку извѣстно, что вся Пушкинская сплошь состоитъ изъ меблированныхъ комнатъ, до такой степени другъ на друга похожихъ, что самый опытный глазъ легко можетъ ихъ перепутать. А неопытный и того пуще.

У Конькова глазъ былъ неопытный и завелъ его не въ тѣ номера. Корридорный выяснилъ ошибку и вывелъ его на улицу.

Коньковъ осмотрѣлся и пошелъ въ домъ, что на-противъ.

— Вамъ кого?—спросилъ швейцаръ.

— Господинъ Коньковъ не здѣсь-ли остановился?

— Нѣтъ-съ. У насъ такихъ нѣтъ.

Коньковъ завернулъ въ сосѣдній подъѣздъ.

— Не здѣсь-ли господинъ Коньковъ?

— А какія они изъ себя будутъ?

— Да такой... симпатичный—съ чувствомъ отвѣтилъ Коньковъ. Симпатичный, средняго роста. Вродѣ меня.

— Нѣтъ, такого не видали!

— Гм... а вѣдь онъ у васъ паспортъ оставилъ...

Коньковъ упалъ духомъ.

— И такъ еще хорошо домъ запомнилъ!.. Подъѣздъ, а слѣва ворота, а у воротъ мальчикъ стоитъ.

Онъ сунулся еще въ одинъ подъѣздъ, но швейцаръ сказалъ ему сухо:

— Какъ вы туточа уже два раза были, такъ я одинъ духъ дворниковъ крикну. А въ участкѣ живо разберутъ, кто кому Коньковъ.

Есть натуры, которыя не теряются въ минуты самой грозной опасности.

Не растерялся и Коньковъ. Онъ нанялъ извозчика и поѣхалъ къ Палкину завтракать.

Народу въ ресторани было мало. Рядомъ за столикомъ сидѣлъ толстый господинъ и, поглядывая на Конькова, съ чувствомъ повторялъ:

— Ч-черты!

Замѣтивъ это, Коньковъ, какъ человѣкъ воспитанный, всталъ и представился.

— Чучело!—завопилъ господинъ.—Да вѣдь я Даниловъ! Мишка Даниловъ! Вмѣстѣ въ полку служили.

— А! И давно ты здѣсь?

— Да ужъ третій годъ.

— Третій годъ у Палкина? Ну, и штучка-же ты!

— Въ Петербургѣ третій годъ, а не у Палкина. Вмѣстѣ обѣдать будемъ?

— Не могу. Занятъ по горло. Ёду въ адресный столъ узнавать гдѣ я живу.

Разказалъ свое горе. Даниловъ помогъ совѣтомъ. Утѣшалъ и успокаивалъ:

— Ты, братецъ, не торопись. Все равно за это время они всѣ твои вещи раскрали. А ночуй у меня. Третья рота, домъ 5, квартира 73. Самъ я вернусь поздно, а ты располагайся. Скажи прислугѣ, чтобъ тебѣ въ кабинетѣ постелили.

Въ три часа ночи, изрядно освѣжившійся Коньковъ разыскалъ пятый домъ въ третьей ротѣ.

— Б-баринъ велѣлъ постелить въ кабинетѣ... — пролепеталъ онъ передъ изумленной горничной.

Спать хорошо. Проснулся около двѣнадцати.

Въ домѣ было тихо. Въ пріотворенную дверь высматривало круглое бритое стариковское лицо съ сѣдоватыми усами. Подъ лицомъ виднѣлась военная тулупка.

— А! Вы проснулись!—сказало лицо и вошло въ комнату.

— Какъ видите, — зѣвнулъ Коньковъ и закурилъ папиросу.

Гость подошелъ и какъ-то сконфуженно присѣлъ на кончикъ кровати. Конькову захотѣлось подбодрить его.

— А вы что-же... Тоже здѣсь ночевали?

— Да-съ... и я тоже. Я здѣсь уже четвертый—мѣсяцъ... ночую...

— Ишь! И не гонить онъ васъ, ха-ха?

— Кто?

— Да хозяинъ.

— Зачѣмъ же ему гнать? Вѣдь я плачу. Шестидесять пять рублей...

— Шестидесять пять? Вотъ выжига! Столько драты! Онъ эдакъ скоро разбогатѣетъ.

— У него и такъ два дома,—сказалъ старичекъ.

— Два дома! А онъ молчитъ! Я, признаюсь, самъ замѣтилъ, когда онъ еще селѣдку ѣлъ. Что-то такое, эдакое... А вѣдь все-таки онъ болванъ! Вѣдь болванъ—Мишка Даниловъ? А?

Старичекъ словно обидѣлся:

— Ну, знаете, ужъ объ этомъ судить не берусь.

Коньковъ зналъ людей и подумалъ:

— Лебеза, подлиза приживальная! Знаемъ мы васъ!

И спросилъ:

— А что онъ ужъ всталъ?

— Кто?

— Да хозяинъ.

— А я то почему знаю!

— И чудакъ же вы! Въ одномъ домѣ живете и ничего не знаете!

— И вовсе не въ одномъ домѣ. Онъ на Сергіевской живетъ.

— Мишка Даниловъ?

Старичекъ чуть не заплакалъ.

— Да не Мишка, Господи! Домовладѣлецъ мой на Сергіевской живетъ. Купецъ Каталовъ. Господи! Страдаю исключительно отъ своей деликатности!

Коньковъ усмѣхнулся и сталъ одѣваться.

— Это вы то?

— Ну да, я! Другой выгналъ бы васъ давно! За лѣзь въ чужой домъ и спать! И спи-ить!

— Па-азвольте! Меня самъ Даниловъ пригласилъ..

Старичекъ похлопалъ его по плечу и той же рукой показалъ на верхъ.

— Тамъ Даниловъ! Тамъ! Поняли?

— Умеръ?—догадался Коньковъ и сразу взялъ себя въ руки, чтобъ не смалодушничать...

— Наверху онъ! — надрывался старичекъ. Наверху живетъ! Въ третьемъ этажѣ. А я Карасевъ въ отставку. Карасе-евъ! Господи!

* * *

Страшно въ рождественскую ночь, когда смерть, обнявшись съ бурей, танцуетъ и гикаетъ, взвываясь снѣжнымъ вихревымъ костромъ... Въ рождественскую ночь вспомнимъ о безпріютныхъ.

ЗА СТѢНОЙ.

Куличъ положительно не удался. Кривой, съ наплывшей сверху коркой, облѣпленной миндалинами, онъ былъ похожъ на старый, гнилой мухоморъ, разбухшій отъ осенняго дождя. Даже воткнутая въ него пышная бумажная роза не придавала ему желанной стройности. Она низко свѣсила свою алую головку, словно разсматривая большую заплатку, украшавшую сѣрую чайную скатерть и еще болѣе подчеркивала кособокость своего пьедестала.

Да, куличъ не удался. Но всѣ точно молча сговорились не придавать значенія этому обстоятельству. Да оно и вполнѣ понятно: мадамъ Шранкъ, какъ хозяйкѣ дома, невыгодно было бы указывать на недостатки своего угощенія, мадамъ Лазенская была гостьей, приглашенной разговляться и, какъ водится, должна была все находить превосходнымъ. Что же касается кухарки Аннушки, то ужъ ей положительно не было никакого расчета обращать вниманіе на свою собственную оплошность.

Прочее же угощеніе не оставляло желать ничего лучшаго: наръзанная маленькими кусочками ветчина, чередуясь съ ломтиками копченой колбасы, изображала на тарелкѣ двухцвѣтную звѣзду. Жареная курица, ра-

скинувшись въ самой беззащитной позѣ, показывала, что она начинена рисомъ. Маленькая сырная пасха была на видъ довольно неказиста, но за то такъ благоухала ванилью, что носъ мадамъ Лазенской самъ собою поворачивался въ ея сторону. Выкрашенные въ яркія цвѣта яйца оживляли всю картину.

Мадамъ Лазенская уже давно была не прочь приступить къ закускѣ. Она старалась изъ приличія не смотрѣть на столъ, но все ея маленькое острое личико съ взбитыми жиденькими волосами и грязной лиловой ленточкой на сморщенной шеѣ выражало напряженное ожиданіе. Приподнявъ безволосыя, подчерпнутыя спичкой брови, она то съ интересомъ разглядывала покрытую вязанной салфеткой этажерку, которую видѣла ежедневно, въ продолженіе девяти лѣтъ, то, опустивъ глаза и собравъ въ комочекъ беззубый ротъ, скромно теребила обшитый рванымъ кружевомъ носовой платочекъ.

Хозяйка, толстая брюнетка, съ отвисшими, какъ у сердитаго бульдога, щеками, важно ходитъ вокругъ стола, разглаживая сѣрый вышитый передникъ на своемъ кругломъ животѣ. Она прекрасно понимаетъ состояніе мадамъ Лазенской, питавшейся весь постъ печенымъ картофелемъ безъ масла, но напускное равнодушіе сердить ее и она нарочно томить свою гостью.

— Еще рано,—гудитъ ея могучій басъ.—Еще въ колоколь не ударили.

Она говоритъ съ сильнымъ нѣмецкимъ акцентомъ, выставляя впередъ толстую верхнюю губу, украшенную черными усиками.

Гость молча теребитъ платочекъ, затѣмъ заводитъ разговоръ на постороннія темы.

— Завтра навѣрно получу письмо отъ Митеньки. Онъ мнѣ всегда на Пасху присылаетъ денегъ.

— И глупо дѣлаетъ. Все равно на духи растратите. Кокетка!

Мадамъ Лазенская заискивающе смѣется, сложивъ ротъ трубочкой, чтобы скрыть отсутствіе переднихъ зубовъ.

— Хю-хю-хю! Ахъ, какая вы насмѣшница!

— Я правду говорю,—гудитъ поощренная хозяйка. —Къ вамъ въ комнату войдешь—какъ палой по носу. И банки и штклянки и флаконы и одеколоны—настоящая обсерваторія.

— Хю-хю-хю!—свиститъ гостья, бросая кокетливый взглядъ на этажерку. Женщина должна благоухать. Тонкіе духи дѣйствуютъ на сердце... Я люблю тонкіе духи! Нужно понимать. Вербена—запахъ легкій и сладкій; амбръ-рояль—густой. Возьмите двѣ капельки амбръ, одну капельку вербены и получите духъ настоящий... настоящий—она пожевала губами, ища слова—земной и небесный. А то возьмите основной духъ Трефль инкарнатъ, пряный, точно съ корицей, да въ него на три капли одну бѣлаго приса... Съ ума сойдете! Прямо съ ума сойдете!

— Затѣмъ мнѣ съ ума сходить,—иронизируетъ мадамъ Шранкъ.—Я лучше схожу къ Ралле, куплю цвѣточный одеколонъ.

— Или возьмите нѣжную Икзору—не слушая, продолжаетъ фантазировать мадамъ Лазенская,—а къ ней подлейте одну каплю на пять тяжелого Фужеру...

Я всяко-жъ больше всего люблю ландышъ,—не-

ребиваетъ ее густой басъ хозяйки, рѣшившей, что пора, наконецъ, показать, что и она кое-что въ духахъ смыслить.

— Ландышъ?—удивляется гостя. —Вы любите ландышъ? Хю-хю-хю! Ради Бога, никому не говорите, что вы любите ландышъ! Ахъ, Боже мой! да васъ засмѣютъ! Хю-хю-хю! Ландышъ! Пошлость какая!

— Ахъ, ахъ! какія нѣжности!—обижается мадамъ Шранкъ,—какъ все это важно! Ума большого не вижу, чтобы морить себя голодомъ—на духи деньги копить! Ужасная прелесть,—ароматъ на три комнаты, а лицо съ кулачокъ.

Мадамъ Лазенская, низко нагнувъ голову, отчищаетъ ногтемъ какое-то пятнышко на своей кофточкѣ. Видны только большія ярко малиновыя уши.

— Пора,—заявляетъ, наконецъ, хозяйка, усаживаясь за столъ.—Аннушка! Тащи кофей!

Мадамъ Шранкъ звонковъ въ комнатахъ не признавала. Голосъ ея гудѣлъ, какъ китайскій гонгъ, и былъ слышенъ одинаково хорошо во всѣхъ углахъ и закоулкахъ маленькой квартирки. Часто случалось, что она, прибирая въ передней, ворчитъ, а кухарка изъ кухни подаетъ ей во весь голосъ реплики. Для того, чтобы разговаривать съ мадамъ Шранкъ, вовсе не нужно было находиться съ ней въ одной комнатѣ.

— Тащи скорѣй!

Вдали раздался грохотъ упавшей кочерги, визгъ собаченки и въ дверяхъ показалась мощная фигура Аннушки, въ ярко красной кофтѣ, стянутой старымъ офицерскимъ поясомъ. Натертыя ради праздника свеклой круглыя щеки соперничали колоритомъ съ лежавшими на блюдѣ пасхальными яйцами. Волосы, грязно-сѣраго

цвѣта, были жирно напомажены и взбиты въ высокую прическу, увѣнчанную розеткой изъ гофрированной зеленой бумажки съ аптечнаго пузырька. Скромно опустивъ глаза, словно стыдѣя своей собственной красоты, поставила Аннушка поднось съ кофейникомъ и чашками.

— Надѣнь передникъ, чучело! — мрачно загудѣла мадамъ Шранкъ. — Кто тебѣ позволилъ воронье гнѣздо на головѣ завивать? Взгляните, мадамъ Лазенская, какъ она себѣ щеки нащипала! Га-га-га!

— Хю-хю-хю! — свистить птицей мадамъ Лазенская.

— И неправда, и не думала щипать, — оправдывается Аннушка, осторожно водя по лицу рукавомъ платья. — Ей Богу! вонъ образъ-то на стѣнѣ... Ей Богу, отъ жары. Куличъ пекла, куру жарила... Въ кухнѣ такое воспаленіе.

Она уходитъ, сердито хлопнувъ дверью.

— Каково! — возмущается хозяйка. — Нельзя слова сказать! Это называется прислуга! Накрасится, волосы размочалить и не подступись къ ней. И каждое воскресенье такъ. Какъ всѣ уйдутъ — сейчасъ щеки намажетъ, офицерскій кушакъ напялитъ и давай обѣдню пѣть. А я нарочно вернусь, открою дверь своимъ ключомъ и все въ передней слушаю. Часа два поетъ во все горло: „Господи помилуй! Господи помилуй!“ Реветь, какъ быкъ. Прямо у меня всѣ нервы трещать. Еще какой-нибудь дуракъ-квартирантъ подумаетъ, что это я такъ пою...

— Жалко Дашу, — вставляетъ мадамъ Лазенская, — та была гораздо скромнѣе.

— Н-ну! Каждый день новый уважатель. Все у нихъ уважатели на умѣ!

Мадамъ Лазенская мнется и молчитъ.

— Удивительное дѣло, — продолжаетъ хозяйка, разрѣзывая курицу. — Все у нихъ уважатели. Ну Аннушка, та по крайней мѣрѣ со двора не ходитъ...

— Завтра пойду, — раздается вопль изъ кухни. — Хоть зарѣжьте, пойду... Передъ людьми стыдно! И такъ старшій дворникъ проходу не даетъ. Когда же ты, говоритъ, вѣдьма, со двора пойдешь? Первый разъ, говоритъ, такого чорта вижу, что никогда со двора не ходитъ.

— Каково! — удивляется хозяйка. — Куда же ты пойдешь, у тебя здѣсь никого нѣтъ?

— Мало-ли куда... На кладбище пойду на какое-нибудь. У насъ въ деревнѣ, какъ праздникъ, всѣ на кладбище идутъ. Нашли тоже дуру, — не знаю я куда идти! Починице другихъ знаю!

— Перестань орать, у меня отъ тебя нервы трещать!

Мадамъ Шранкъ подходитъ къ буфету и, повернувшись спиной къ мадамъ Лазенской, что-то переставляетъ, тихо звеня рюмками. Затѣмъ слегка откидываетъ голову назадъ и, заперевъ буфетъ, возвращается на мѣсто, смущенно покашливая. Гостя все время внимательно разсматриваетъ этажерку.

Она давно знакома съ этимъ маленькимъ маневромъ и знаетъ, что, продѣлавъ его, мадамъ Шранкъ становится необыкновенно патріотичной и любить говорить о Германіи, которую никогда и въ глаза не

видала, такъ какъ родилась и выросла въ Петербургѣ. Мадамъ Лазенская въ такихъ случаяхъ немножко обижается за Россію и старается замѣять разговоръ. Противорѣчить она не смѣетъ, чувствуя себя всегда немножко виноватой передъ своей усатой собесѣдницей. Дѣло въ томъ, что, занимая у мадамъ Шранкъ крошечную комнатку, она часто не можетъ заплатить за нее въ срокъ и мадамъ Шранкъ снисходительно допускаетъ разсрочку.

— Подобной прислуги въ Берлинѣ не бываетъ, — укоризненно говоритъ хозяйка, отправляя въ ротъ большой кусокъ ветчины.

Гостья молчитъ, подбирая вилкой рисъ.

Мадамъ Шранкъ долго придумываетъ, что-бы ей сказать непріятнаго:

— Вы что молчите? Вѣрно мечтаете, какіе духи на Митенькины деньги покупать будете? Охота ему посылать! Есть еще на свѣтѣ глупые сыновья! Послѣ васъ вѣдь ему ничего не останется. А что отъ отца осталось, то вы въ три года успѣли фю-ю по вѣтру...

Лицо мадамъ Лазенской покрывается пятнами.

— Знаете, мадамъ Шранкъ, — быстро перебиваетъ она. — я сегодня видѣла красное сукно, точно такого цвѣта, какъ у меня амазонка была. Помните, я вамъ рассказывала? Ну, точь въ точь, точь въ точь...

— Еще бы вамъ не знать амазонку, когда вы въ три года двадцать тысячъ съ офицерами верхомъ проскакали.

— Хю-хю-хю! — лебезить гостья, желая вмигъ смилостивить обличительницу.

— Вы чего смѣетесь?

— Такъ, я вспомнила смѣшное,—гугаетъ мадамъ Лазенская — вы вчера рассказали про того старика...

Лицо мадамъ Шранкъ медленно растягивается въ улыбку; глаза щурятся, углы рта глубоко въѣзжаются въ мягкія щеки.

— Го-го-го! «Позвольте, сударыня, васъ проводить»... Оборачиваюсь—Господи! Ножки тоненькія, еле стоить, обѣими руками за палку держится... Носъ синій—весь бровь сѣдой... «Вы? меня провожать? Вамъ нужно скорѣй домой бѣжать». Онъ на меня глаза выпучилъ, ничего не понимаетъ... „Бѣгите, говорю, домой — вамъ умирать пора, скорѣй бѣгите!“ Га-га-га! А онъ какъ заплевался, га-га-га! — ужасно рассердился.

— Охъ, перестаньте! Хю-хю-хю!—Охъ, вы меня уморите! Хю-хю-хю!—Ахъ, ужъ эта мнѣ мадамъ Шранкъ всегда что нибудь!..

— Скорѣй, говорю, торопитесь. Всяко-жъ непріятно, если на улицѣ...

— Охъ! хю-хю-хю!..

— Ну, перестаньте, мадамъ Лазенская! Съ васъ вся пудра обсыпалась.

Объ дамы, не смотря на десятилѣтнее совмѣстное сожителство, никогда не звали другъ друга по имени. Какъ-то одна изъ родственницъ мадамъ Шранкъ спросила у нея, какъ имя ея жилички и та, къ своему собственному удивленію, призналась, что никогда не полюбопытствовала узнать объ этомъ.

— Ахъ, эти мужчины! — томно вздыхаетъ мадамъ Лазенская. — Мнѣ Лизавета Ивановна рассказывала...

— Все вретъ ваша Лизавета Ивановна, — вдругъ

вспыхиваетъ порохо́мъ хозяйка. — И ничего она разсказывать не можетъ на своемъ чухонскомъ язы́кѣ. Сегодня увязалась со мной въ мясную, руками машетъ, кричитъ, мнѣ передъ прохожими стыдно. Переходимъ черезъ улицу, я говорю «идите скорѣе», а она какъ завизжитъ. «Не могу скорѣй, на меня лошади наступили». Прямо срамъ! Ну сказала бы: «извините, мадамъ Шранкъ, я нахожусь въ большомъ толпа лошадей». Столько лѣтъ жить въ Петербургѣ, говорить не умѣетъ. Чухонка!

Мадамъ Лазенской очень хочется попробовать колбасы, но она боится заявить о своемъ желаніи, когда хозяйка такъ разстроена, и снова мѣняетъ тему разговора.

— Да, эти мужчины, прямо такіе... такіе...

Мадамъ Шранкъ настороживается, какъ дроздь, которому подвистнули знакомый мотивъ.

— Скушайте колбасы! Что вы такъ мало? Всяко-жъ мужчины презабавный народъ. Былъ у меня одинъ нахлѣбникъ — молодой, красивый, адмирала сынъ. Онъ самъ изъ Харькова, въ Петербургъ пріѣхалъ экзаменъ на генерала держать на штатскаго... У васъ, говорить, мадамъ Шранкъ, на щекахъ розы лепетки...

— Онъ при мнѣ, кажется, не приходилъ?

— Нѣтъ, онъ года за два до васъ былъ. Га-га!... Розы лепетки!

— Чудное средство отъ морщинъ — помада кремъ-симонъ, — некстати вставляетъ мадамъ Лазенская. — Вы попробуйте, мадамъ Шранкъ. Это прямо удивительно, какъ она дѣйствуетъ на кожу! Я всю жизнь ничего, кромѣ кремъ-симонъ, не употребляла. Каждое утро и

каждый вечеръ немножко на ватку и потомъ вотъ такъ втирать... Вы непременно должны...

— Га-га-га! — добродушно колыхнется хозяйка.— Еслибы вы мнѣ не сказали, что вы ее употребляете, можетъ быть, я бы и попробовала. А ужъ какъ предупредили,—покорно благодарю. Ужъ больше морщинъ, какъ на вашемъ лицѣ, никогда въ жизни не видывала! Ей Богу, мадамъ Лазенская, ужъ вы не обижайтесь,—никогда въ жизни!

Гостя краснѣетъ и криво улыбается.

— И всяко-жъ вы транжирка,—продолжаетъ хозяйка.—Деньги нельзя на всякіе тамъ симоны да ликарноны тратить. Деньги нужно копить. Вотъ когда мужъ былъ живъ, да у меня въ ушахъ брилліанты съ кулакъ болтались, повѣрьте, совсѣмъ иначе ко мнѣ люди относились. Что ни скажу—все умно было. Теперь, небось, никто не кричитъ про мой умъ, а какъ вспомню, такъ и тогда все однѣ глупости говорила. Деньги—великое дѣло. Будь у васъ деньги, вы бы тоже умѣе всѣхъ были и полковники бы у васъ въ гостяхъ сидѣли, и призъ бы за красоту получили.

Мадамъ Лазенская, расцвѣтая кокетливо-смущенной улыбкой, оправляетъ на шеѣ лиловую ленточку, а мадамъ Шранкъ снова подходитъ къ буфету и звенить рюмками...

— У насъ, въ Берлинѣ, умѣютъ деньги цѣнить. У насъ въ Берлинѣ все умѣютъ. Откуда на Невскомъ электрическіе фонари?—Отъ нѣмцевъ! Откуда дома большіе?—нѣмцы выстроили. И матеріи, и шелкъ, и всякія науки—исторія, географія—все отъ нѣмцевъ, все они выдумали!

Мадамъ Лазенская краснѣетъ и блѣднѣетъ. Ей хо-

чется возразить, но она не знаетъ что сказать, и, кромѣ того, она еще не попробовала пасхи, а постѣ политическихъ споровъ, приличіе требовало удалиться въ свою комнату.

— Какъ у васъ искусно сдѣлана эта розочка въ куличѣ, прямо хочется понюхать,—говоритъ она дрожащими губами.

Мадамъ Шранкъ, злобѣще помолчавъ, вдругъ сообщаетъ:

— Лизаветы Ивановны жилецъ читалъ въ газетахъ, что въ Берлинѣ было большое землетрясеніе. Очень большое. У русскихъ никогда не бываетъ землетрясенія.

Это было слишкомъ много даже для мадамъ Лазенской. Она вдругъ вся задрожала и покрылась красными пятнами.

— Неправда! Неправда!—закричала она тоненькимъ, прерывающимся визгомъ.—Въ Россіи нѣсколько разъ было землетрясеніе. Въ Вѣрномъ было...

— Это не считается,—дѣланнымъ спокойнымъ басомъ говоритъ хозяйка—это за Балканскимъ моремъ, это ужъ не натуральная Россія...

— Неправда!—судорожно трясетъ кулачкомъ мадамъ Лазенская.—Это вы нарочно... Вы думаете, что я бѣдная, такъ у меня нѣтъ отечества!.. Стыдно вамъ! Все знаютъ, что у русскихъ было землетрясеніе! Это нечестно! Вы все врете! Все врете! Вы про старика ужъ пятый годъ рассказываете и всегда говорите, что это на дняхъ было. Стыдно вамъ!

Она вскочила и, быстро затопавъ каблучками, натыкаясь на стулья, побѣжала въ свою каморку и заперлась на крючекъ.

Въ каморкѣ было тихо и чрезъ открытую форточку вмѣстѣ съ крѣпкимъ и влажнымъ запахомъ весны протяжно вливался тихій гулъ пасхальнаго благовѣста. Онъ томилъ и тревожилъ душу, какъ отзвукъ далекой чужой радости, и тихо колебалъ воздухъ глубокими тяжелыми волнами.

За окномъ—стѣна, начинающаяся гдѣ-то далеко внизу, уходила высоко въ тусклое небо, безконечная, гладкая, сѣрая...

Въ каморкѣ было тихо, и никто не мѣшалъ мадамъ Лазенской выплакаться. Она плакала долго, низко опустивъ голову и упершись локтями въ подоконникъ. Потомъ, когда слезы изсякли и чувство острой обиды притупилось и успокоилась, она встала, подошла къ комоду и, выдвинувъ верхній ящикъ, вытащила завернутый въ шелковую тряпочку флаконъ. Она осторожно вынула пробку и медленно потянулась носомъ впередъ, вдыхая содержимое вздрагивающими ноздрями. Затѣмъ снова заботливо завернула флаконъ и тихо и ласково, словно спеленутаго ребенка, уложила его на прежнее мѣсто.

Медленно, еще дрожащей послѣ волненія рукой, придвинула она коробочку съ пудрой и, обтеревъ пуховкой лицо, развѣсила на спинкѣ стула мокрый носовой платочекъ, тщательно расправивъ рваныя кружевца.

— Аннушка, — загудѣлъ вдали голосъ мадамъ Шранкъ, — скажи мадамъ Лазенской, пусть идетъ пить кофе, когда у нея дурь пройдетъ. Я не могу всю ночь ждать. Здѣсь вотъ пасхи кусокъ. Остальное снесу на холодъ. Я спать иду. У меня у самой нервы трещать.

Сердце мадамъ Лазенской громко застучало. Она

знаетъ, что Аннушка давно спитъ, и что хозяйка говоритъ нарочно для того, чтобы она, Лазенская, услышала.

Она тихонько подкрадывается къ двери и прислушивается, выжидая ухода мадамъ Шранкъ, чтобы выйти въ столовую.

Стѣна за окномъ чуть-чуть розовѣетъ подъ первыми алыми лучами восходящаго солнца. Разсвѣтлый живой вѣтерокъ дерako стукнулъ форточкой и, пробѣжавъ легкой струйкой, колыхнулъ сохнувшій на стулѣ платочекъ.

ПОЛИТИКА И НАУКА.

Настроение въ классной комнатѣ какое-то втянутое. Второй день не дерутся.

Павлику не по себѣ. Онъ сидитъ надъ книгой и тихо похныкиваетъ, глядя на лампу, подвѣшенную высоко „отъ грѣха подальше“.

Борька, толстый, безбровый, хмурить лобъ и зубрить по бумажкѣ.

— Р. С.-Д. Р. П., Д. К. и Р. Д... Нѣтъ же Д. К., а К.-Д., К.-Д., К.-Д., К.-Д.

— Хм!—хнычетъ Павликъ.—И чего ты бѣсишься. Все равно всѣ знаютъ, что у насъ въ приготовительномъ самые трудные предметы. У насъ всѣ предметы начинаются, а у васъ все только повторяютъ. Это всѣмъ извѣстно.

— К.-Д., К.-Д., К.-Д.—кудахтаетъ Борька.

— Хм! Хм! Меня завтра изъ батюшки спросятъ, а я ничего не могу выучить. Вчера спросили, я все великолѣпно зналъ, а онъ колъ влѣпилъ.

— Р. С.-Д. Р. П., Р. С.-Д. Р. П.—А что же тебя спрашивали?—съ легкимъ палетомъ презрѣнія кидаетъ Борька.

— Спросили про двенадцатые праздники. Я ему

почти всё назвалъ: Пасху назвалъ, Вознесенье назвалъ, Елку назвалъ, Введенье назвалъ, масляницу назвалъ...

— Дуракъ! масляница не двенадесятая. Р. С.-Д. Р. П.

— Я ему все назвалъ, и Илью назвалъ, а онъ...

— Перестань скулить! Р. П. С.-Р... У меня революція на носу. Большевикъ, меньшевикъ, фракція, фракція, фракція... Большевикъ, меньшевикъ...

Павликъ уныло посмотрѣлъ на маленькій круглый Борькинъ носъ, на которомъ была революція, и захныкалъ дальше.

— Хм! Заповѣди всё знаю, а онъ нарочно сбиваетъ, чтобы...

— Врешь, неожиданно обрываетъ Борька. Не можешь ты всѣхъ заповѣдей знать.

— Нѣтъ знаю.

— Ну скажи, какую знаешь.

— Всё знаю. И третью знаю.

— Ну скажи, про что въ третьей говорится?

— Про родителей.

— А что про родителей?

— „Да не прелюбо да сотворите“ говорится. Я все знаю. А ты ничего не знаешь, ты ерунду зубришь. Латинскую азбуку.

— Эхъ ты, курица! Это не латинская азбука. Это мнѣ Папа Коромыслениковъ записалъ. Это, братецъ ты мой, фракція, а не ерунда. Папа Коромыслениковъ не такой человѣкъ, чтобы ерундой заниматься. Опъ братецъ ты мой...

— А что такое фракція?

— Это, братецъ ты мой, тебѣ еще рановато знать.

Вотъ перейдешь въ слѣдующій классъ, тогда... Паша Коромысленниковъ свѣтлая личность!

Борька глубокомысленно хмурить, то мѣсто, гдѣ должны быть брови, и понизивъ голосъ, продолжаетъ:

— У Паши Коромысленникова чудный револьверъ! Браунингъ. Великолѣпный! Маузеровской работы. Онъ нѣсколько тысячъ стоитъ, и то безъ пуль. Пули покупаются отдѣльно. Тоже нѣсколько тысячъ. Но мы будемъ сами пули лить. Своего отлива прочнѣе. Будемъ копить свинецъ изъ-подъ Гала-Петеръ. Этого конечно мало... Ну да тамъ видво будетъ. Мнѣ тоже придется обзавестись оружіемъ.

— А тебѣ зачѣмъ?—криво усмѣхается Павликъ. Онъ уже давно почувствовалъ уваженіе къ брату, но еще совѣстно показать это.

— Я, видишь-ли, братецъ ты мой, сдѣлалъ маленькую оплошность. Можетъ быть ты и не замѣтилъ, но кое-кто навѣрное намоталъ себѣ на усъ. Дѣло въ томъ, что я вчера за обѣдомъ брякнулъ во всеуслышаніе, что я социаль-демократъ. Теперь Паша Коромысленниковъ совѣтуетъ мнѣ спать съ оружіемъ. Примѣръ Герценштейна служить яркимъ доказательствомъ того, что черная сотня не пощадитъ никого изъ насъ...

Павликъ уже не усмѣхается. Глаза у него стали круглые.

— Да-съ, братецъ ты мой,—продолжаетъ Борька. Дѣло—табакъ! Конечно я могъ бы, напримѣръ, завтра же за обѣдомъ заявить, что я не социаль-демократъ, а что я принадлежу къ фракціи союза активныхъ крамоль, то есть борьбы (ты вѣдь все равно не понимаешь). Этимъ я бы себя спасъ. Но Борисъ Сухаревъ не таковъ, братецъ ты мой! Ты еще узнаешь, что такое

Борись Сухаревъ. А теперь—засохни! Не мѣшай. Р. С.-Д. Р. П., Р. С.-Д. Р. П., Р. С.-Д. Р. П.

Нѣкоторое время Павликъ молча и сосредоточенно рисуетъ черниломъ рожи у себя на ногтяхъ.

Разрисовалъ всю лѣвую руку—на каждомъ ногтѣ по рождѣ. мрачно полюбовался. Принялся за правую руку. Здѣсь дѣло не налаживалось. Павликъ не умѣлъ рисовать лѣвой рукой. Опять стало скучно. Пришлось захныкать.

— Хм... хм... Все равно хоть все на память вызубри, а онъ колѣ влѣпнѣть. Я ему все Вознесенье хорошо отвѣтилъ; все правильно рассказалъ, только заглавіе спуталъ, сказалъ, что это Срѣтенье, а онъ... А Петя говоритъ, что если я изъ батюшки срѣжусь, такъ меня на второй годъ засадятъ.

— Засохни! П. П. С., П. Н.-С... У меня теперь трудное пошло. П. П. С., П. Н.-С...

— Изъ русскаго разборъ задалъ, а я не могу...

— Что ты не можешь, курица?

— Не могу пустынного.

— Какого пустынного?

— Задано «Пустынный гулялъ въ пустынь». Пустыня имя существительное, паричательное... А пустынный... а пустынный глаголь?

— Глаголь?—задумывается Борька.—Ну, это ты братецъ, того... Какъ-же тогда второе лицо?

— Ты пустынный...—безнадежно тянетъ Павликъ.

— Нѣтъ, это ты, братецъ мой, путаешь. Это такъ кажется, что глаголь, потому что пустынный предметъ воодушевленный. А ты возьми предметъ невоодушевленный. Напримѣръ—столъ. Что такое—столъ?

— Глаго-оль..

— Вотъ курица? Какъ-же будущее время, если глаголь?

— Столу-у, хм..

Въ сосѣдней комнатѣ часы бьютъ восемь. Борька въ отчаяніи хватается за голову.

— Сейчасъ чай пить позовутъ, а я ни въ зубъ ногой. Будь товарищемъ, спроси меня вотъ по этой бумажкѣ, только не подсказывай, я самъ...

Павликъ беретъ бумажку и мрачно насупившись начинаетъ:

— Что такое К.-Д.?

— Да ты не по порядку! Ты въ разбивку спрашивай. По порядку и дуракъ скажетъ.

— Что такое максималисты?

— Ну это легко. Это тѣ, которые въ Фонарномъ переулкѣ. Валяй дальше!

— Что такое П. Д. Р.?

— П. Д. Р... П. Д. Р... Постой ты вѣрно не такъ спрашиваешь. Да П. Д. Р. Партія демократическихъ реформъ, правѣй К.-Д., лѣвѣй С.-Д.

— Что такое Р. С.-Д. Р. П.?

— Гм... Какъ?

— Р. С.-Д. Р. П.

— Ты вѣрно опять спуталъ.

— Р. С.-Д. Р. П.—настойчиво тянетъ Павликъ.

— Пошелъ къ чорту! Мекеке! Мекеке! Туда-же бѣрется спрашивать. Сказано курица—ну и молчи! Давай сюда записку!

Въ столовой зазвенѣли ложки. Сейчасъ позовутъ чай пить. Скучно Павлику и тревожно. Что-то завтра

будетъ изъ батюшки... И развѣ пустышникъ павѣрное глаголь?..

Борька отдувается и фыркаетъ: «Фракція, фракція, фракція...».

Молодчина Борька. Хорошо быть большимъ и умнымъ!..

УТѢШИТЕЛЬ.

Мишеньку арестовали.

Маменька и тетенька сидятъ за чаемъ и обсуждаютъ обстоятельства дѣла.

— Пустяки,—говорить тетенька.—Мнѣ самъ господинъ околодочный надзиратель сказалъ, что все это ерунда. Добро бы, говорить студентъ, а то гимназистъ третъеклассникъ. Пожучать, да и выпустять.

— Пожучить надо,—покорно соглашается маменька.

— А потомъ тоже и пистолеть-то вѣдь старый, его и зарядить нельзя. Это всякій можетъ понять, что не зарядивши не выпалишь.

— Охъ, Мишенька, Мишенька! Чужало твое сердце. Онъ, Вѣрушка, какъ эту пистоль-то завелъ, такъ самъ три ночи заснуть не могъ. Каждую минутку встанеть да посмотреть, какъ эта пистоль-то лежитъ. Не повернулась ли значить къ нему дыркой. Я ему говорю—«брось ты ее, отдай у кого взялъ». И бросить нельзя—товарищи велѣли.

— Такъ вѣдь оно незаряжено?

— Незаряжено-то оно незаряжено, да Мишенька говоритъ, что въ газетахъ читалъ, быдто какъ нагрѣется пистоль отъ солнца, такъ и выстрѣлить; и заряживать

значить не падо. Въ Америкѣ быдто нагрѣлось да ночью цѣлую семью и ухлопала.

— Да солнца-то вѣдь ночью не бываетъ — сомнѣвается тетенька.

— Мало что не бываетъ. За день разогрѣтся, а ночью и палить.

— Не спорю, а только много и врутъ газеты то. Вотъ наемни Степанида Петровна тоже въ газетѣ вычитала, быдто на Петербургской сторонѣ продается лисья шуба за шестнадцать рублей. Ну статочное ли дѣло? Чтобы лисья шуба...

— Врутъ, конечно врутъ. Имъ что!.. Имъ все равно. Что угодно напишутъ.

Дверь неожиданно съ трескомъ распахивается. Входитъ гимназистъ — Мишинъ товарищъ. Щеки у него пухлыя, губы надуты и выраженіе лица зловѣщее.

— Здравствуйте! Я зашелъ... Вообще считаю своимъ долгомъ успокоить. Волноваться вамъ въ сущности нечего. Тѣмъ болѣе, что вы навѣрно были подготовлены...

У маменьки лицо вытягивается. Тетенька продолжаетъ безмятежно сплевывать вишневые косточки.

— Можете значить отнестись къ факту спокойно. Климатъ въ Сибири очень хорошъ, особенно полезенъ для слабогрудныхъ. Это вамъ каждая медицина скажетъ.

Тетенька роняетъ ложку. У маменьки глаза дѣлаются совсѣмъ круглыми, съ бѣлыми ободочками.

— Вотъ видите, какъ вы волнуетесь, — съ упрекомъ говоритъ гимназистъ. — Можно ли такъ... изъ за пустяковъ. Скажите лучше, были ли найдены при обыскѣ компром... прометпующія личность вещи?

— ... Го лоди,—застонала маменька,—пистоль эту
окаянную да еще газетку какую-то!

— Газету? Вы говорите газету? Гм... Осложняется...
Но волноваться вамъ совершенно незачѣмъ.

— Можетъ быть газета-то и не къ тому...—робко
вмѣшивается тетенька. Потому онъ на газету-то только
глазомъ метнулъ да и завернулъ въ нее пистолеть
Можетъ быть...

Гимназистъ криво усмѣхнулся и тетенька осѣ-
лась.

— Гм... Ну, словомъ вы не должны тревожиться.
Газета. Гм... Тѣмъ болѣе, что тюремный режимъ очень
хорошо дѣйствуетъ на здоровье. Это даже въ меди-
цинѣ написано. Замкнутый образъ жизни, отсутствіе
раздражающихъ впечатлѣній — все это хорошо сохра-
няетъ... сохраняетъ первныя волокна... Каледонскіе ка-
торжанники отличаются долговѣчностью. Михаилъ мо-
жетъ дотянуть до глубокой старости. Вамъ, какъ ма-
терямъ, это должно быть пріятно.

— Голубчикъ, — вся затряслась маменька, — голу-
бчикъ! Не томи! говори, говори, все, что знаешь. Ужъ
лучше сразу!..

— Сразу! Сразу!—всхлипнула тетенька. Не надо насъ
подготавливать... Мы тверды...

— Говори, святая владычица.

Гимназистъ пожалъ плечами.

— Я васъ положительно не понимаю! Вѣдь ничего
же нѣтъ серьезнаго. Нужно же быть разсудитель-
ными. Ну газета, ну револьверъ. Что за бѣда! Ре-
вольверъ гм... Вооруженное сопротивленіе властямъ
при нарушеніи судебной обязанности... Въ прош-
ломъ году, говорятъ, разстрѣляли одного учителя

за то, что тотъ очки носилъ. Ей Богу! Ему говорятъ—
«снимите очки». А онъ говоритъ: я, молъ, ничего не
вижу невооруженнымъ глазомъ. Вотъ его за вооруже-
ніе глаза и разстрѣляли. Что же касается Михаила, то
само собой разумѣется, что револьверъ будетъ посерьез-
нѣе очковъ. Да и то, собственно говоря, пустяки, если
принять во вниманіе процентъ рождаемости...

Маменька, дико вскрикнувъ, откидывается на спинку
дивана. Тетенька хватается за голову и начинаетъ
громко вѣть.

Въ дверь просовывается голова кухарки.

— Ну развѣ можно такъ волноваться! Ай какъ
стыдно!—ласково журить гимназистъ.

Кухарка голосить: и на ко-го ты насъ...

— Ну-съ, я вечеркомъ опять зайду—говоритъ гим-
назистъ и, взявъ фуражку, уходитъ съ видомъ чело-
вѣка, удачно исполнившаго тяжелый долгъ.

КОРСИКАНЕЦЪ.

Допросъ затянулся и жандармъ почувствовалъ себя утомленнымъ; онъ сдѣлалъ перерывъ и прошелъ въ свой кабинетъ отдохнуть.

Онъ уже, сладко улыбаясь, подходилъ къ дивану, какъ вдругъ остановился и лицо его исказилось, точно онъ увидѣлъ большую гадость.

За стѣной громкій басъ отчетливо пропѣлъ: «Маршъ, маршъ впередъ, рабочій народъ!..»

Басу вторилъ, едва поспѣвая за нимъ, сбиваясь и фальшивя, робкій, осипшій голосокъ; «ря-бочій народъ»...

— Эт-то что?—воскликнулъ жандармъ, указывая на стѣну.

Письмоводитель слегка приподнялся на стулѣ.

— Я уже имѣлъ обстоятельство доложить вамъ на предметъ агента.

— Нич-чего не понимаю! Говорите проще.

— Агентъ Фіалкинъ изъясняетъ непремѣнное желаніе поступить въ провокаторы. Онъ вторую зиму дежурить у Михайловской конки. Тихій человекъ.

Только амбиціозенъ сверхъ штата. Я, говоритъ, гублю молодость и лучшія силы свои истрачиваю на конку. Отмѣтилъ медленность своего движенія по конкѣ и невозможность примѣненія выдающихся силъ, предполагая ихъ существованіе...

«Кряваый и пряый...» — дребезжало за стѣной.

— Врешь! — поправлялъ басъ...

— И что же — талантливый человѣкъ? — спросилъ жандармъ.

— Амбиціозенъ даже излишне. Ни одной революціонной пѣсни не знаетъ, а туда же лѣзетъ въ провокаторы. Ныль, ныль... Вотъ, спасибо городской бляха № 4711... Онъ у насъ это все, какъ понотамъ... Слова-то положимъ всѣ городовые хорошо знаютъ, на улицѣ стоятъ, — уши не заткнешь. Ну, а эта бляха и въ слухъ очень талантлива. Вотъ взялся выучить.

— Ишь! варшавянку жарятъ, — мечтательно прошепталъ жандармъ: — Самолюбіе вещь не дурная. Она можетъ человѣка въ люди вывести. Вотъ Наполеонъ — простой корсиканецъ былъ... однако достигъ гм... кое-чего.

«Оно горитъ и ярко рдѣетъ.

«То наша кровь горитъ на немъ» — рычитъ бляха № 4711.

— Какъ будто ужъ другой мотивъ — насторожился жандармъ. Что же онъ всѣмъ пѣснямъ будетъ учить сразу?

— Всѣмъ, всѣмъ. Фіалкинъ самъ его торопитъ. Говоритъ быдто какое-то дѣльце обрисовывается.

— И самолюбище же у людей!

— «Сѣмя грядущаго...» — заблеялъ шпикъ за стѣной.

— Энергія дьявольская — вздохнулъ жандармъ. —

Говорятъ, что Наполеонъ, когда еще былъ простымъ корсиканцемъ...

Внизу съ лѣстницы раздался какой-то ревъ и глухіе удары.

— А это что?— поднимаетъ брови жандармъ.

А это наши, союзники, которые на полномъ паціонѣ въ нижнемъ этажѣ. Волнуются.

— Чего имъ?

— Пьніе значить до нихъ дошло. Трудно имъ...

— А ч-чертъ! Дѣйствительно какъ-то неудобно. Пожалуй и на улицѣ слышно, подумаютъ митингъ у насъ.

— „Песъ ты окаянный!— вздыхаетъ за стѣной бляха.— Чего ты воешь, какъ собака? Развѣ революціонеръ такъ поетъ! Революціонеръ открыто поетъ. Звукъ у него ясный. Каждое слово слышно. А онъ себя въ щеки скулить да глазами во всѣ стороны сигаешь. Не ситай глазами! Остатіи разъ говорю. Вотъ плюну и уйду. Нанимай себя максималиста, коли охота есть“.

— Сердится! — усмѣхнулся писмоводитель, — Фигнеръ какой!

— Самолюбіе! Самолюбіе—повторяетъ жандармъ.— Въ провокаторы захотѣлъ. Нѣтъ братъ, и эта роза съ шипами. Военно-полевой судъ не разсуждаетъ. Захватятъ тебя, братецъ ты мой, а революціонеръ ты или честный провокаторъ разбирать не станутъ. Подрываешь ножками.

«Нашимъ потомъ жирѣютъ обжоры» — надывается городской.

— Тьфу! У меня даже зубъ заболѣлъ! Отговорили бы его какъ-нибудь, что-ли.

— Да какъ его отговоришь-то, если онъ въ себя

чувствуетъ эдакое значить влеченіе. Карьеристъ на родъ пошелъ—вздыхаетъ письмоводитель.

— Ну, убѣдить всегда можно. Скажите ему, что порядочный шпикъ такъ же нуженъ отечеству, какъ и провокаторъ. У меня вонъ зубъ болить...

«Вы жертвою пали...»—взревѣлъ городской.

«Вы жертвою пали»—жалобно заблеялъ шпикъ.

— Къ черту! — взвизгнулъ жандармъ и выбѣжалъ изъ комнаты:—Вонъ отсюда! раздался въ коридоръ его прерывающійся осипшій отъ злости голосъ:—Мерзавцы Въ провокаторы лѣзутъ, марсельезы спѣть не умѣютъ. Осрамятъ заведеніе! Корсиканцы! Я вамъ покажу корсиканцевъ!..

Хлопнула дверь. Все стихло. За стѣной кто-то всхлипнулъ.

МОРСКІЕ СИГНАЛЫ.

Мы катались по Невѣ.

Нева, это — огромная рѣка, которая впадаетъ сразу въ двѣ стороны—въ Ладожское озеро и въ Балтійское море. Поэтому плавать по ней очень трудно. Но съ нами былъ Ныряловъ, бывшій морякъ, который справлялся и не съ такими задачами. Онъ гребъ все время одинъ и болталъ веслами въ разныя стороны. Такимъ образомъ лодка стояла на одномъ мѣстѣ и было скучно, но у моряковъ, кажется, это очень цѣнится. Называется это у нихъ „зашкваривать“ или что-то въ этомъ родѣ.

Пѣли по обычаю „Внизъ по матушкѣ по Волгѣ“. На водѣ всегда поютъ „Внизъ по матушкѣ по Волгѣ“. Но едва затанули „На носу сидитъ хозяинъ“, какъ увидѣли большое судно, стоявшее у берега.

— Это оно отшвартовалось, — сказалъ бывшій морякъ.

Мнѣ не хотѣлось показать, что я не поняла слова, и я только замѣтила:

— Само собою разумѣется! Но какъ вы это узнаете?

— Что „это“?

— Да что это съ нимъ произошло. Именно это, а не другое?

Но морякъ уже не слушалъ меня, а всматривался въ какіе-то бѣлые лоскутки, развивавшіеся на мачтахъ.

— Эге!—сказалъ онъ. — Любопытно! Вѣдь это они сигнализируютъ. Въ морѣ сигналы всегда дѣлаются посредствомъ небольшихъ флаговъ.

— А что-же значить этотъ сигналъ?—спросили мы.

— Это? Гм... Два слѣва... одинъ выше... Это значить «мы на мели».

— Ай-ай-ай! Несчастные!

— Что-же дѣлать? Мы во всякомъ случаѣ помочь имъ не можемъ. Придется подождать. Скоро другія суда замѣтятъ и придутъ на помощь.

Мы остановились, причалили къ берегу и стали наблюдать. Черезъ нѣсколько минутъ на корабль появился еще два флага. На этотъ разъ оба были цвѣтные.

— Это что-же?

Морякъ заволновался.

— Два пестрыхъ... два бѣлыхъ... «Голодаемъ».

— Несчастные!

— Вотъ еще одинъ флагъ!

— Три пестрыхъ, два бѣлыхъ... «нѣтъ воды».

— Какой ужасъ!

— Еще флаги! Сразу четыре.

— Позвольте! Не кричите! Дайте разобраться. Вы думаете это такъ просто? Теперь уже девять флаговъ. Можетъ быть, я и ошибаюсь, но мнѣ кажется, что это значить „сдаемся безъ боя“.

— Значить, это иностранное судно?

— А кто его разберетъ! Очень близко подойти опасно. Они могутъ дать залпъ.

— Чего ради?

— Какъ, чего ради! Люди въ такомъ опасномъ по-

поженіи. Нервы напряжены до крайности! Каждая минута дорога и все кажется зловѣщимъ. Вы не понимаете психологіи гибнущаго въ морѣ. Да они васъ въ клочки разорвутъ!

Мы притихли.

А количество страшныхъ флаговъ все увеличивалось.

Морякъ уже не объяснять намъ значеніе каждого сигнала. Онъ только безнадежно махалъ руками и лишь изрѣдка бросалъ отдѣльные слова.

— „Свирѣпствуетъ зараза“!

— „Пухнемъ съ голоду“!

— „Сдаемся безъ выстрѣла“!

Мы молча предавались ужасу.

— Какая величественная картина,—шепнулъ кто-то изъ насъ.—Точно громадный звѣрь погибаетъ.

— Ужасно! Ужасно!

— „Идемъ ко дну“!—завопилъ вдругъ морякъ.—Все кончено—они идутъ ко дну! Мы должны немедленно отплыть подальше! Иначе насъ затянетъ въ воронку и мы утонемъ вмѣстѣ съ ними. Гребите скорѣе!

Мы схватились за весла. Морякъ уже не гребъ, а только дирижировалъ. Онъ даже забылъ про то, что Нева сразу впадаетъ въ два конца и не препятствовалъ намъ болтать веслами въ одну сторону.

Отплыли, завернули за берегъ.

— Посмотрите, виденъ-ли онъ еще. Я самъ не могу, мнѣ слишкомъ тяжело...

— Виденъ!

— Несчастные! Какъ они медленно погружаются!

Отфѣхали еще немножко.

— Виденъ?

— Виде—еиъ!

— О, Господи! Минуты-то какія!

Вдругъ, смотримъ, идутъ по берегу два матроса
Такъ что-то въ сердцѣ и екнуло...

— Братцы, вы откуда? Вы куда?

— А изъ городу. Идемъ на энтотъ самый.

Тычуть большими пальцами прямо въ сторону гиб
пущаго корабля.

— Да, что вы! Да вы посмотрите, что тамъ дѣ
лается-то! Али вамъ съ берега не видать?

— Какъ не видать! Видаты!

— А что на мачтахъ-то виситъ? А? Несчастные вы

— А ничего! Пушай себѣ виситъ! Это наша коман
да рубахи стирала, такъ вотъ повѣсила. Не извольте
пужаться. Оно къ вечеру подсохнетъ.

СТРАШНЫЙ ПРЫЖОКЪ.

(Посвящаю Герману Бангу и прочимъ авторамъ рассказовъ объ акробаткахъ, бросившихся съ трапеціи отъ несчастной любви).

1.

Многіе думали, что Ленора не любитъ его.

Можетъ быть считали его, толстаго, краснощекаго и спокойнаго, неспособнымъ вызвать нѣжное чувство въ избалованной успѣхомъ дѣвушкѣ? Можетъ быть, не знали, что любовь такая птица, которая можетъ свить себѣ гнѣздо подѣ любимъ пнемъ? Можетъ быть. Но какое намъ дѣло до того, что думали многіе?

2.

Каждый вечеръ сидѣлъ онъ на своемъ обычномъ мѣстѣ въ первомъ ряду креселъ.

Его цилиндръ блестѣлъ.

Тихо подѣ звуки печальнаго вальса качалась разубранная цвѣтами трапеція.

Гибкая, стройная, то прямая, какъ стрѣла, то круглая, какъ кольцо, то изогнутая, какъ не знаю что, кружилась Ленора.

„Я люблю тебя!“—шептали ея длинные шуршащiе волосы.

„Я люблю тебя!“—говорили ея напряженно-дрожащiя руки.

„Я люблю тебя!“—кричали ея вытянутыя ноги.

Вотъ она скользнула съ трапецiи и, держась за канатъ одной рукой, повисла, дрожа и сверкая, какъ слеза на рѣсницѣ.

„Amour! Amour!
Jamais! Toujours!“

пѣли скрипки.

3.

Онъ вспоминалъ ихъ первую встрѣчу и ту вѣточку ландышей, которую онъ подарилъ ей въ первый вечеръ.

Гдѣ хранила Ленора засохшiй цвѣтокъ?

Гдѣ?

Кажется, въ комодѣ.

4.

Четыре года блестялъ его цилиндръ въ первомъ ряду креселъ.

Но вотъ, однажды, въ дождливый осеннiй вечеръ (о, зачѣмъ дождь идетъ осенью, когда и безъ того скверная погода!) онъ не пришелъ.

Тихо шуршали волосы Леноры, шуршали, шептали и звали.

И плакали скрипки:

„Amour! Amour!
Jamais! Toujours!“

5.

Онъ пришелъ черезъ два дня.

Кажется, цилиндръ его потускнѣлъ немножко. Не знаю.

Онъ приходилъ только пять дней. Затѣмъ пропалъ на двѣ недѣли.

Ленора молчала. Никто не слышалъ ея жалобъ, но всѣ знали, что онъ измѣнилъ, и что она все знаетъ.

6.

Она прокралась ночью къ его окну и стояла до утра подъ дождемъ, градомъ и снѣгомъ (въ эту ночь, было все заразы) и прислушивалась, какъ блаженствуетъ онъ въ объятяхъ ея соперницы.

7.

Она страдала молча, но скрыть страданій не могла, и зрители даже самыхъ отдаленныхъ рядовъ, куда дѣти и нижніе чины допускаются за двадцать копѣекъ, замѣчали, какъ она худѣетъ у нихъ на глазахъ.

Директоръ цирка, разузнавъ все подробно, рѣшилъ что пора дать ей бенефисъ.

А скрипки продолжали, какъ заладили:

„Amour! Amour!

Jamais! Tojours!“

8.

День бенефиса приближался. Ленора готовилась. Никто не зналъ, какое упражненіе разучиваетъ она,

потому что она работала одна и никого въ это время къ себѣ не допускала.

Старый клоунъ пробовалъ подслушивать, но за дверью было такъ тихо. Слышались только заглушенные вздохи.

Такъ не готовятся къ бенефису, но, можетъ быть, такъ готовятся къ смерти?

9.

Старый клоунъ встрѣтилъ Ленору у дверей конышни и вкрадчиво спросилъ ее, дрессируя слона:

— Ленора! Отчего не слышно, какъ вы упражняетесь, готовясь къ своему бенефису?

— Чудакъ!—отвѣтила она, усмѣхнувшись.—Вы хотите слышать, какъ летаютъ по воздуху?

— Ленора!—умоляюще воскликнулъ онъ:—Ленора! Откройте мнѣ, какую штуку вы готовите?

Она подняла свои поблѣднѣвшія брови и, жутко отчеканивая, сказала:

— Головоломную.

Онъ долго вспоминалъ это слово. Какое-то странное дуновеніе пробѣжало по воздуху, колыхнуло волосы

Можетъ быть, слонъ вздохнулъ?

10.

День бенефиса приближался.

Уже готова была гигантская афиша, на которой было написано огромными буквами, красными, какъ кровь, и черными, какъ смерть: «Мадемуазель Ленора,

вопреки всякимъ законамъ тяготѣнія, перелетить по воздуху черезъ весь циркъ.

Цѣны бенефисныя. Безъ сѣтки».

Послѣднія два слова относились къ полету, а не къ цѣнамъ, и были написаны въ концѣ по ошибкѣ и недосмотру. Но тѣмъ мучительнѣе было производимое ими впечатлѣніе, и странно переплетались буквы, красныя, какъ кровь, и черныя, какъ смерть. Безъ сѣтки.

11.

Утромъ въ день бенефиса директоръ позвалъ къ себѣ блѣдную Ленору и сказалъ ей:

— Ленора! Цѣны я назначилъ тройныя. Сборъ въ твою пользу. Но если что-нибудь... словомъ, въ случаѣ твоей смерти сборъ цѣликомъ поступаетъ ко мнѣ.

И онъ улыбнулся. Улыбка смерти... Ленора молча кивнула головой и вышла.

Она надѣла плащъ и, закутавъ голову въ черный платокъ, пошла на окраину города къ вдовѣ портного, живущей въ хорошенькомъ домикѣ съ огородомъ, приносящимъ пользу и удовольствіе.

Она недолго пробыла тамъ, и о чемъ говорила съ вдовой портного, неизвѣстно. Но вышла она съ просвѣтленнымъ лицомъ.

12.

Наступилъ вечеръ. Зажгли лампы и фонари. Темная масса народа прихлынула къ дверямъ цирка и стала медленно вливаться въ его открытыя двери, на-

поминавшія пасть страннаго чудовища, у котораго внутри свѣтло.

Поднимали головы, смотрѣли на красныя и черныя буквы и улыбались, какъ нероновскіе тигры, которымъ дали понюхать христіанина. Волнуясь и торопясь, разсаживались по мѣстамъ.

У самой арены толпились репортеры, поздравляли другъ друга. Одинъ изъ нихъ, молоденькій новичекъ, задорно усмѣхнувшись, сказалъ странныя слова.

— А я, признаться сказать, уже сдалъ замѣтку впередъ. Написалъ, что подробности послѣ.

Товарищи взглянули на него завистливо.

13.

Началось представленіе.

Публика была разсѣяна и равнодушна. Ждали по слѣдняго номера, обѣщаннаго красными и черными буквами. Смертью и кровью.

Вотъ вышелъ любимецъ публики, старый клоунъ.

Но ни одна шутка не удалась ему. Что то волновало и мучило его, и онъ не заслужилъ аплодисментовъ, несмотря на то, что дважды задѣлъ честь мундира околодочнаго надзирателя.

Вернувшись въ конюшню, онъ вытащилъ какой-то черный ящикъ и сталъ прилаживать къ нему крышку.

14.

Она вышла блѣдная и спокойная. Простъ былъ ея парядъ. На груди у сердца была приколота засохшая

вѣтка ландыша. Это было единственнымъ ея украше-
ніемъ. Въ остальномъ, повторяю, нарядъ ея былъ
чрезвычайно простъ.

Скрипки (что имъ дѣлается!) зарядили свое:

„Amour, Amour!

Jamais, Toujours!“

Она тихо повела глазами, осматривая толпу. Вздог-
нула и замерла.

Въ первомъ ряду на обычномъ мѣстѣ тускло бле-
стѣлъ и переливался цилиндръ.

Она склонила голову.

Ave Caesar!

И медленно поднялась наверхъ подъ самый куполъ
цирка.

Сейчасъ! Сейчасъ!

Зрители вскочили съ мѣстъ, беспорядочно толпясь
у самой арены, боясь пропустить малѣйшее движеніе
тамъ, наверху.

Музыка смолкла. Толпа замерла. Чуть слышно скри-
пѣли сухія перья репортеровъ.

Вотъ мелкой дробью забилъ барабанъ.

Барабанъ? Къ чему барабанъ? Развѣ хоронятъ ге-
нерала? И умѣстенъ-ли барабанъ на похоронахъ чело-
вѣка, не имѣющаго военного чина?..

Ленора вытянулась, высвободила обѣ руки, она
не держится больше за канатъ. Она взяла вѣтку
ландышей, приложила ее къ губамъ и бросила внизъ,
Долетитъ-ли эта легкая сухая вѣтка до земли прежде
чѣмъ...

Ленора подалась впередъ, вытянула руки. Взметну-
лись на воздухъ ея длинные волосы... Раздался нече-
ловѣческій крикъ...

15.

Это кричалъ толстый господинъ въ цилиндрѣ.

16.

Это кричалъ толстый господинъ въ цилиндрѣ, которому въ толпѣ отдавили ногу.

17.

На другой день Ленора, получивъ тройной сборъ за бенефисъ, купила у вдовы портного хорошенькій домикъ съ огородомъ, приносящимъ пользу и удовольствие.

ПАТРИОТЪ.

Дѣло было часовъ въ шесть часовъ утра на станціи Чудово. Я дожидалась лошадей, чтобы ѣхать въ деревню, пила чай и скучала.

Большая, скверно освѣщенная зала. Гдѣ то за стѣной визжать и гулко хлопають двери. За стойкой звенить ложками и бренчить чашками невыспавшійся буфетчикъ. Онъ поминутно смотритъ на часы и зѣваетъ, какъ левъ въ клѣткѣ.

Тоска свыше мѣры!

Вдругъ, смотрю, за противоположнымъ столомъ что-то зашевелилось. Послышалось криканье, и съ дивана, медленно поднялся толстый, бритый старикъ, въ круглой вязанной шапочкѣ, какъ носятъ грудные младенцы. Кромѣ шапочки, на немъ была полосатая фуфайка, сѣренькій пиджачекъ, а на ногахъ гетры.

Старикъ протеръ глаза, поманилъ лакея, показалъ ему рубль и, отрицательно покачавъ головой, постучалъ по пустой пивной бутылкѣ, стоявшей на столѣ.

Лакей тоже отрицательно покачалъ головой и отошелъ прочь. А старикъ вынулъ засаленную книжечку съ отваливающимися листами и поцарапалъ въ ней что-то.

— Что это за человѣкъ?—спросилъ я лакея.

— Это, сударыня, нѣмецъ какой-то. Пришелъ вечеромъ пѣшкомъ и все пиво пьетъ, а денегъ не платитъ, только вотъ одинъ рубль покажетъ и опять въ карманчикъ. Буфетчикъ не велѣли больше отпускать.

— Да вы вѣрно не понимаете, что онъ говорить.

— Никакъ нѣтъ, не понимаемъ.

Въ эту минуту нѣмецъ всталъ и, подойдя ко мнѣ, въ чемъ то извинился.

Оказался онъ французомъ, путешествующимъ пѣшкомъ вокругъ свѣта. Онъ обошелъ уже всю Аффику, Америку, Австралию и Европу. Теперь идетъ черезъ Россію въ Азію. Вышелъ изъ дому четыре года тому назадъ.

— Зачѣмъ же вы это дѣлаете? Что вамъ за охота?—удивилась я.

— Для славы своего отечества. Изъ чувства патриотизма.

— Нѣсколько лѣтъ тому назадъ одинъ членъ нашего кружка обошелъ весь свѣтъ въ три года. Я сказалъ, что обойду скорѣе. Вотъ иду уже пятый годъ, а обошелъ только половину. Значитъ тотъ солгалъ.

— Но вѣдь онъ тоже былъ французъ, такъ причѣмъ же тутъ вашъ подвигъ?

— О! Madame разсуждаетъ легкомысленно. Madame не понимаетъ, что каждый французъ желаетъ лично прославить свое отечество. Къ тому же я путешествую безъ денегъ.

— А какъ же я видала у васъ рубль въ рукахъ?

— Ахъ, это только для того, чтобы объяснить, что у меня нѣтъ денегъ. Покажу рубль, покачаю головою они и понимаютъ.

— Удивительно. Ну, а чѣмъ же вы докажете, что вы дѣйствительно шли, а не сидѣли гдѣ-нибудь въ Вержболовѣ.

— О, madame! Я во всѣхъ большихъ городахъ беру свидѣтельства отъ мэровъ, что я проходилъ. Кромѣ того, я веду дневникъ, записки, которыя будутъ изданы для славы моей родины.

Онъ вытащилъ свою засаленную книжечку и, любезно ослабившись, указалъ мнѣ послѣдній листокъ.

— Здѣсь кое-что о вашемъ родномъ уголкѣ. О! Я ничего не пропускаю.

Я прочла каракули:

„Женщины губерніи Чудово (du gouvernement de Tchoudowo) имѣютъ бѣлокурые волосы и носятъ кожаняя сумки черезъ плечо“.

Я бросила бѣглый взглядъ на сосѣдній листочекъ. Тамъ было французскими буквами написано «pivo» и «Zacussie».

— О, madame! — продолжалъ французъ, деликатно вынимая изъ моихъ рукъ свою книжечку. — О! Я могу вамъ показать массу интереснаго. Я покажу вамъ письма моей жены и ея портретъ.

Онъ сунулъ мнѣ въ руку пачку истрепанныхъ писемъ и, не удовольствовавшись этимъ, началъ читать одно изъ нихъ вслухъ.

„Мой обожаемый другъ, — писала эта замѣчательная женщина. — Иди впередъ! Иди, несмотря на всѣ лишенія и трудности твоего пути. Работай для славы нашей дорогой родины, а я буду ждать тебя долгіе, долгіе годы и участвовать въ твоемъ подвигѣ своей молитвой“.

Потомъ онъ вынулъ маленькую фотографическую

карточку и нѣсколько минутъ глядѣлъ на нее, и умиленно покачивая головой, тихо пропѣлъ:

„Et tra-là-là-là-là

Et tra-là-là-là-là

Roulait dans du galà“.

Пѣсенка нѣсколько удивила меня, но, взглянувъ на карточку, я перестала удивляться. На ней изображалась молодая особа въ кэпи и въ короткой юбкѣ и отдавала честь ногой.

— Ваша жена, вѣроятно... пѣвица,—пробормотала я, не зная, что сказать.

— Почему вы такъ думаете?

— Такъ... видно по лицу, что у нея хорошій голосъ—додумалась я.

— О, вы правы! это великая артистка! Имя ея будетъ гремѣть по всему свѣту. Самъ великій Кокленъ предсказалъ ей громкую славу. И она работаетъ... О! какъ она работаетъ для своего отечества! Она и меня ободряетъ. Вотъ, въ другомъ письмѣ она говоритъ, чтобъ я не смѣлъ возвращаться, пока не закончу своей задачи. Бѣдная! Она такъ страдаетъ безъ меня, но она жертвуетъ всѣмъ pour notre chère patrie. Это святая женщина,—прибавилъ онъ и взглянулъ на меня строго.

Не зная, что сказать, я спросила, какъ ему понравилась Африка.

— О! C'est de la chaleur! — отвѣтилъ онъ и безнадежно махнулъ рукой.

* * *

Я уже садилась въ почтовую коляску, какъ вдругъ ямщикъ, укладывавшій мои вещи, показалъ рукою въ

сторону и, отвернувшись, фыркнулъ какъ лошадь. Я оглянулася.

Около полотна желѣзной дороги по скользкой и липкой тропинкѣ шелъ мой патріотъ.

— Бѣдный!—подумала я.—Чѣмъ заплатить тебѣ благодарное отечество за то, что ты во славу его мѣсишь своими гетрами нашу повгородскую грязь?

Онъ узналъ меня издали и поспѣшилъ подойти, дѣлая самые удивительные привѣтственные жесты.

Онъ долго желалъ мнѣ всякихъ благополучій, а подъ конецъ повергъ меня въ радостное изумленіе, пообщавъ, что непременно напишетъ отъ меня поклонъ своей женѣ.

— Это святая женщина, — прибавилъ онъ и отошелъ, тихо напѣвая очевидно тѣсно связанное съ воспоминаніемъ о ней.

„Et tra-là-là-là-là
Et tra-là-là-là-là
Roulait dans du galá!“

ИЗЪ ВЕСЕННЯГО ДНЕВНИКА.

... А природа, какъ уже давно дознано археологами, все дѣлаетъ на зло человѣку. Недаромъ говорится: „гони природу въ дверь, она вернется въ окно“.

Вотъ и теперь: дача не нанята—солнце во всѣ лопатки. Въ прошломъ году переѣхали рано, начались майскіе морозы и продолжались вплоть до сентября. Двѣсти рублей за дачу заплатили, на шестьдесятъ дровъ извели. А еще увѣряютъ, что человѣкъ—царь природы. Очень и очень ограниченный монархъ, во всякомъ случаѣ.

Я, лично, не люблю природы. По моему, это—одна фантазія и расходъ. И всегда простудись въ концѣ концовъ. Но вчера утромъ Жанъ настроился совсѣмъ по весеннему. Посмотрѣлъ на барометръ, на термометръ Цельсія, на Реомюра, на Фаренгейта, помножилъ Реомюра на Цельсія, раздѣлилъ барометръ на Фаренгейта и рѣшилъ, что погода весь день будетъ великолѣпная, и нужно ѣхать подышать свѣжимъ воздухомъ. На мои протесты онъ отвѣтилъ, что если человѣкъ работаетъ всю недѣлю, какъ бѣшенная собака, то онъ имѣетъ право въ воскресенье насладиться природой.

Я поняла, что, дѣйствительно, было бы глупо имѣть право и не пользоваться имъ. Непрактично.

И мы поѣхали.

Увязался съ нами и beau-frère Васенька. Я не люблю съ нимъ ѣздить. Онъ ужасно моветонный и легко можетъ скомпрометировать.

Онъ и на этотъ разъ сталъ что-то очень глупо острить насчетъ моего зонтика, но Жанъ сразу поставилъ его на мѣсто (конечно, Васеньку, а не зонтикъ), и мы поѣхали наслаждаться воздухомъ.

Ѣхали на конкѣ

Beau-frère Васенька уронилъ въ щель двѣ копѣйки и всю дорогу выковыривалъ ихъ тросточкой. Это было очень непріятно. Сосѣди могли подумать, что для нашей семьи такую важную роль играютъ двѣ копѣйки!

Вдобавокъ, онъ всю зиму сохранялъ лѣтнее пальто въ нафталинѣ, а для поѣздки обновилъ его, и я очень страдала при каждомъ Васенькиномъ движеніи. Жанъ сидѣлъ съ другой стороны, и отъ него пахло пачулями, нюхательнымъ табакомъ и перцемъ. Отъ этой смѣси издохнетъ не только моль, но и любое млекопитающее. Мнѣ было очень скверно. Съ одной дамой-впавши сдѣлался легкій обморокъ. Но Жанъ поставилъ ее на мѣсто, и она вылѣзла на полномъ ходу.

Около Черной рѣчки у меня зазеленѣло въ глазахъ, и мы вышли на площадку. Тамъ было легче дышать, но очень тѣсно стоять. Beau-frère Васенька болталъ ногой въ воздухѣ, и Жанъ никакъ не могъ поставить его на мѣсто. А нафталинъ пахъ, и вѣтеръ дулъ какъ разъ на меня.

На площадкѣ стояли какія-то личности, которыя, повидимому, не прочь были завязать разговоръ. Чтобы

поставить ихъ на мѣсто, Жанъ началъ говорить о за-
границѣ. Они сразу поняли, кто передъ ними, и за-
молчали.

— Посмотри, Нинетъ, какъ этотъ мостъ похожъ
на... на площадь Согласія въ Лондонѣ,—говорилъ онъ.

Я заграницей не бывала, но соглашалась, что по-
хожъ. Можетъ быть, и правда похожъ—чего же безъ
толку спорить.

— Когда я поднимался на Риги... Ригикульмъ...

Всѣ слушали съ завистью, а beau-frère Васенька
вдругъ загоготалъ, какъ дикій вепрь, и говорить:
„Врешь, Ванька, никогда ты въ Ригѣ не бывалъ“.

Вышло ужасно глупо. Всѣ стали ухмыляться, а
Васенька началъ поддѣвать: „вре-ешь, вре-ешь“...

Жанъ, чтобы поставить его на мѣсто,—сказалъ, что
въ обществѣ не принято пѣть, когда стоишь на коноч-
ной площадкѣ. Но тутъ вмѣшался кондукторъ.

— Како-такое общество? Мы уже второй годъ, какъ
въ городъ перешедчи. Не общество, стало, а городскіе.

— Я говорю о высшемъ обществѣ—поставилъ его
на мѣсто Жанъ.—О высшемъ, а не о конно-желѣзно-
дорожномъ.

У Черной рѣчки мы выѣзжали и рѣшили взять из-
возчика до ресторана.

Но извозчикъ нашелся только одинъ и до того пья-
ный, что его нельзя было даже поставить на мѣсто.

Пришлось итти пѣшкомъ.

Вѣтеръ дулъ съ Васенькиной стороны, и я все время
думала, какъдохнетъ моль.

Должно быть, ужасныя страданія!..

На набережной сидѣла цѣлая дивизія свѣжемоби-

лизованных хулигановъ и дѣлилась впечатлѣніями на нашъ счетъ. Это было непріятно.

У входа въ ресторанъ Жанъ долго умилялся картиною природы и говорилъ, что весной пробуждается жизнь.

— Какая красота!—твердилъ онъ. Рѣка точно серебро! Берега точно изумрудъ! Небо точно бирюза!.. Горизонтъ —точно золото.

Онъ говорилъ очень поэтично, хотя нѣсколько ювелирно.

— А этотъ чудный аромать распускающихся почекъ!..

Beau-frère Васенька потянулъ носомъ и съ уваженіемъ произнесъ:

— Ну! И нюхъ-же у тебя! Дѣйствительно, на верандѣ кто-то почки въ мадерѣ уплетаетъ.

Мы прошли на веранду, и лакей спросилъ, что мы желаемъ на ужинъ. Но Жанъ сразу поставилъ его на мѣсто, заказавъ три стакана морсу.

Откушавъ, мы наняли лодку и поѣхали къ взморью.

Я сидѣла на рулѣ и на какой-то корявой палкѣ. Было очень неловко, но палку вытащить было нельзя. Жанъ говорилъ, что лодка при этомъ перевернется.

Beau frère Васенька болталъ веслами, языкомъ и ногами, и кричалъ, что задѣлъ весломъ рыбу. Жанъ вспоминалъ, что былъ знакомъ съ однимъ графомъ, членомъ яхтъ-клуба, и показывалъ, какъ этотъ графъ рассказывалъ, какъ гребъ одинъ князь. Лодка при этомъ ползла бокомъ и тыкалась кормою въ берега.

Рядомъ съ нами плыли на яликѣ какіе-то нахалы и веселились на нашъ счетъ. Они не слышали, что Жанъ рассказываетъ и не понимали, что такъ гребетъ

князь по рассказу графа, а думали, должно быть, что это Жанъ самъ не умѣетъ.

Чтобы поставить ихъ на мѣсто, Жанъ велѣлъ мнѣ спѣть что-нибудь по-французски. Мнѣ было неловко, и я отказывалась.

Но въ это время насъ обогнала лодка.

Въ ней сидѣла дама съ офицеромъ и имѣла такой гордый видъ, точно она только что Портъ-Артуръ сдала.

Я не выдержала и запѣла „Si tu m'aimais!“

Офицеръ покосился на мой голосъ, а дама со злости повернула носъ не въ ту сторону, и ткнула насъ рулемъ.

Мы выѣхали на Стрѣлку. Закатъ, какъ поется въ романсѣ „пылалъ бобровой полосой“.

На самомъ горизонтѣ, тамъ, гдѣ небо цѣлуетъ землю, стояли три мужика и пили поочередно изъ бутылки.

Налѣво изъ ресторана несло свѣжераспустившимися почками. Нафталинъ относилъ въ сторону. Преобладали табакъ и перецъ.

На обратномъ пути Васенька напоролся на крупную рыбу и потерялъ весло. Пришлось ставить лодочника на мѣсто, потому что онъ запросилъ за весло очень дорого.

Корявая палка, на которой я сидѣла, оказалось моимъ же собственнымъ зонтикомъ, только сломаннымъ пополамъ.

У Жана раздавился котелокъ, а у Васеньки пропалъ безъ вѣсти галстукъ.

Вхали назадъ опять на конкѣ. Пассажиры смотрѣли на насъ двусмысленно. Жанъ, чтобы поставить ихъ на мѣсто и оправдать несвѣжесть нашихъ костюмовъ, рассказывалъ о значеніи спорта въ жизни великихъ людей и извѣстныхъ политическихъ дѣятелей.

Нафталинъ и табакъ отсырѣли, стали острѣе, рѣзче и навязчивѣе.

Д А Ч А.

Сѣрое небо... сѣрое море...

Сѣрый воздухъ дрожить тонкими дождевыми нитями...

По липко-скользкимъ дорожкамъ, гуськомъ, бродятъ первые дачники. Бродятъ они медленно по три, четыре человѣка. Дѣти впереди, старики за ними. Если одинъ отстанетъ, всѣ останавливаются и ждутъ его долго и покорно, не поворачивая головы.

Они не разговариваютъ, даже не вздыхаютъ, и о приближеніи ихъ можно узнать только по тихому всхлипыванію калошъ...

Вотъ они прошли лѣсной дорожкой, по которой ходить строго воспрещается; подошли къ парку въ которой входъ „воспрѣщенъ“ строго-настрого, черезъ „Ѣ“. Посмотрѣли на деревья, которыя нельзя ломать, на траву, которой нельзя рвать. Подошли къ берегу, съ котораго сѣрая доска позволяетъ купаться только „жепщинамъ“ и то въ ковычкахъ. Взглянули на скамейку, недоступную „постороннимъ лицамъ“... и тихо повернули опять на лѣсную дорожку, по которой ходить строго воспрещается. Дѣти впереди, старики за ними.

* * *

Дачникъ—происхожденія доисторическаго или, ужъ во всякомъ случаѣ, — внѣисторическаго. Ни у одного Иловайскаго о немъ не упоминается.

Нѣсколько народныхъ легендъ касаются слегка этого предмета.

Не буду приводить ихъ дословно, воздержусь также отъ сохраненія стиля и колорита, такъ какъ имѣю для этого особыя причины. Передамъ только сущность.

Первый дачникъ пришелъ съ запада. Остановился около деревни Укко-Кукка, осмотрѣлся, промолвилъ „бирь тринкенъ“ и сѣлъ. И вокругъ того мѣста, куда онъ сѣлъ, сейчасъ же образовались крокетная площадка, ломберный столъ и парусиновая занавѣска съ красной каемочкой. Такъ просидѣлъ первый дачникъ первое лѣто.

На второе лѣто онъ вернулся опять. Принесъ съ собою двѣ удочки и привелъ четырехъ дѣтенышей на тоненькихъ ножкахъ, въ бѣленькихъ кэпи. И образовался вокругъ него зеленый заборчикъ, переносный лодникъ и кудрявая береза, которая дачникъ подрѣзывалъ и при помощи срѣзанныхъ вѣтвей воспитывалъ своихъ дѣтенышей. Такъ просидѣлъ первый дачникъ второе лѣто.

На третье лѣто вернулся снова и принесъ съ собою гамакъ, флагъ и привелъ восемь дѣтенышей на тоненькихъ ножкахъ въ бѣленькихъ кэпи и одного почти безлобаго велосипедиста съ большимъ кадыкомъ. И образовался вокругъ него дачный дворникъ и потребовалъ видъ на жительство. Но первый дачникъ не понялъ его. Тогда пришелъ полицейскій и, узнавъ, что первый дачникъ по русски не говоритъ, припомнилъ иностранные языки и сказалъ: „Позвольте вашъ пей-

заячь". Потомъ они поняли другъ друга, и первый дачникъ пустилъ первые корни.

Вокругъ него образовался палисадникъ, граммофонъ и разносчики.

И сталъ первый дачникъ плодиться, размножаться, наполнять собою Озерки, Лахту, Лѣсное, Удѣльную и всѣ Парголова.

И стало такъ.



Дачный дворникъ — существо особое, отъ обыкновеннаго дворника отличное.

Лицо у него круглое, съ неискоренимымъ, вѣроятно, наслѣдственно глупымъ выраженіемъ.

Существуетъ онъ только лѣтомъ. Гдѣ онъ находится и что дѣлаетъ зимой, — никто до сихъ поръ не знаетъ. Вѣроятно, зимуетъ тамъ же, гдѣ раки. Знаю, что это опредѣленіе не совсѣмъ ясное, но, къ стыду моему, должна признаться, что до сихъ поръ не освѣдомлена съ точностью о рачьей резиденціи. Многіе обѣщаютъ другъ другу сдѣлать это разъясненіе, но кажется, еще никто этого обѣщанія не исполнилъ.

Какъ бы то ни было, но какъ только „за весной, красой природы“ наступитъ лѣто и пригрѣетъ солнцемъ дачный палисадникъ, — тотчасъ около забора, въ позѣ херувима Сикстинской Мадонны, подпершись обоими локтями — залоснится ликъ дачнаго дворника.

Дѣятельность дачнаго дворника велика и многообразна.

Встаетъ онъ не позже пяти-шести часовъ и тотчасъ принимается за дѣло: притащить къ самымъ окон-

камъ какую-нибудь старую доску и начинаетъ вколачивать въ нее гвозди. Иногда доска бываетъ съ желѣзкой, и тогда она очень хорошо дребезжитъ. Колотить дачный дворникъ по доскѣ до тѣхъ поръ, пока съ дикими воплями не высунутся изъ оконъ озвѣрѣловсклокоченные головы дачниковъ. Тогда дворникъ идетъ отдыхать. Но утренній сонъ, какъ извѣстно, бываетъ крѣпокъ и, если дворникъ честный работяга, то ему приходится иногда трудиться не менѣе получаса, чтобы достигнуть вождѣннаго конца.

Выждавъ время, когда озвѣрѣлые дачники придуть въ себя и, одѣвшись и успокоившись, выползутъ на веранды и палисадники наслаждаться утреннимъ свежимъ, дачный дворникъ беретъ за метлу и начинаетъ пылить. Пылить онъ долго и систематически. Тамъ, гдѣ земля затвердѣла,—подсыпаетъ сухенькаго песку—силъ своихъ не жалѣетъ. И когда истомленные дачники, задыхающіеся и покорные, разбѣгаются по полямъ, лѣсамъ и оврагамъ,—опъ снова уходитъ на отдыхъ.

Затѣмъ, вплоть до вечера, ему „недосугъ“. Онъ сидитъ въ своей сторожкѣ и смотритъ однимъ глазомъ въ осколокъ зеркала, прилѣпленный къ стѣнкѣ.

Вечеромъ онъ стоитъ у калитки и чешетъ лѣвую лопатку оттопыреннымъ пальцемъ правой руки. Въ то же самое время онъ не отказываетъ себѣ въ удовольствіи нанести посильный ущербъ дачниковскимъ дѣламъ. Онъ увѣряетъ пріѣхавшихъ къ нимъ друзей, что дачи стоятъ пустыя, или что всѣ съѣхали, или что не переехали, или что ихъ выселили. Почтальоновъ направляетъ въ другой конецъ, куда-нибудь за полотно желѣзной дороги или въ лѣсъ, откуда имъ потомъ трудно будетъ выбраться. Телеграммъ не принимаетъ никогда,

а если не сможет отвертѣться, то не передаетъ, или ужь, въ лучшемъ случаѣ, вручить черезъ три дня. Короче срока не бываетъ.

Ночью дачный дворникъ не спитъ, и все время подсвистываетъ собакамъ, чтобы тѣ лаяли и не давали спать дачникамъ.

Раза два въ недѣлю дѣлаетъ визиты квартирантамъ, позволяя имъ выражать свою благодарность денежными знаками.

* * *

Дачнымъ часамъ никто не вѣритъ. Живутъ по поѣздамъ, по пароходамъ, по мороженщику и по чиновникамъ. Иногда, конечно, это приводитъ къ нѣкоторымъ неудобствамъ. Вы, напримѣръ, привыкли обѣдать по рыжему чиновнику съ кривой кокардой. Видите, что онъ бѣжитъ съ поѣзда, значить — пора садиться за столъ. А вдругъ, у чиновника винтъ, или еще того хуже — вечернее засѣданіе, которое, по свидѣтельству его собственной жены, продолжается иногда часовъ до шести утра!

Вотъ, и сидите безъ обѣда.

А если вы, напримѣръ, привыкли пить чай по пяти-часовому поѣзду. И вдругъ, къ ужасу своему видите, что ровно въ половинѣ пятого летитъ поѣздъ. Вамъ тревожно. Вы собираете домашній совѣтъ, причемъ одни говорятъ что это опоздавшій трехчасовой другіе — что поторопившійся пятичасовой. Одни совѣтуютъ пить чай, другіе настаиваютъ, что слѣдовало бы потерпѣть. Въ семьѣ разладъ. Жизнь испорчена.

Я не говорю уже о пароходахъ. За ними услѣдить

трудно, а проклятые деревенскіе мальчишки выучились такъ искусно трубить по пароходному, что одинъ коллежскій ассесоръ, не испорченный и доверчивый человѣкъ, позавтракалъ четыре раза подрядъ. И дорого за это поплатился — мяснику и зеленщику.

Чиновники, отправляющіеся ежедневно въ городъ на службу, тоже живутъ другъ другомъ.

Вотъ, длинная улица, упирающаяся въ вокзалъ. На ней—два ряда дачъ. Передъ утреннимъ девятичасовымъ поѣздомъ, въ одномъ изъ окошекъ каждой дачи появляется встревоженная физіономія и слѣдитъ. Появилось вдали облачко пыли...

— Кто? Кто?—проносится по всей улицѣ.

— Нѣтъ, это еще только полковникъ, — спокойно говорятъ одни. Но рыжій чиновникъ, съ кривой кокардой, живущій по полковнику, срывается съ мѣста и, прихвативъ портфель, бѣжитъ на вокзалъ.

Завидѣвъ его, начинаетъ колыхаться толстый акцизный и, засунувъ два бутерброда въ карманъ пальто, выползаетъ на дорогу.

По акцизному живутъ два учителя, по учителямъ—дантистъ, по дантисту—бавковскій чиновникъ, по банковскому чиновнику—студентъ-репетиторъ, по студенту—музыкальная барышня, по барышнѣ—конторщикъ въ желтыхъ башмакахъ, по конторщику—докторшинъ жилецъ, по жильцу—господинъ съ двумя мопсами.

Каждый твердо знаетъ свой указатель и слѣдитъ только за нимъ. Въ первую голову всегда идетъ полковникъ.

Разъ случилась катастрофа: полковникъ проспалъ.

И вся вереница дачниковъ, живущихъ другъ по другу, опоздала на поѣздъ. Проскочила только одна музыкальная барышня, и та забыла дома папку съ надписью „musique“, и сошла съума.

* * *

Бродятъ первые дачники. Дѣти впереди, старики за ними. Бродятъ отъ одного столбика съ дощечкой къ другому столбику съ дощечкой и останавливаются, и читають о томъ, что имъ дѣлать воспрещается.

Сѣрое небо... сѣрое море...

ЗАБЫТЫЙ ПУТЬ.

Софья Ивановна подобрала платье и съ новой энергіей стала взбираться на насыпь. Каблуки скользили по травѣ, пляпа лѣзла на глаза, зонтикъ валился изъ рукъ. Наверху стоялъ желѣзнодорожный сторожъ и развлекался, глядя на страданія молодой туристки. Каждый разъ, поднимая глаза, встрѣчалась Софья Ивановна съ его равнодушно-любопытнымъ взглядомъ и чувствовала, какъ взглядъ этотъ парализуетъ ея силы. Но все-равно — отступать было поздно; бѣольшая часть пути пройдена, да и стоитъ-ли обращать вниманіе на мужика «qui ne comprend rien», какъ говорилось въ пансіонѣ, гдѣ три года тому назадъ окончила она свое образованіе.

Жаркое іюльское солнце палило немилосердно. Софья Ивановна остановилась на минуту перевести духъ и вытянула изъ-за пояса часики: уже четверть перваго. Къ пяти вернется мужъ, а у нея еще и обѣдъ не заказанъ! Опять будетъ исторія! Она съ грустью посмотрѣла на оборванное кружево юбки, тянувшееся за нею по травѣ, какъ большая раздавленная змѣя, и, вздохнувъ, собралась идти дальше, но при первомъ же ея движеніи свернутый зонтикъ, выскочивъ изъ рукъ,

плавно поползъ внизъ по насыпи, пока не остановился, упершись въ какую-то кочку. Софья Ивановна въ отчаяніи всплеснула руками. Ничего не подѣлаешь, нужно теперь вернуться за зонтикомъ!.. Однако, спуститься оказалось еще труднѣе, чѣмъ подыматься; не успѣла она сдѣлать и двухъ шаговъ, какъ потеряла равновѣсіе и опустилась на траву. Зонтикъ былъ уже близко. Она попробовала достать его ногою, потянулась еще немножко внизъ... «Ахъ!»—едва дотронулась кончикомъ башмака, какъ зонтикъ вздрогнулъ и, весело подпрыгивая, поскакалъ дальше. Софья Ивановна съ ожесточеніемъ перевернулась лицомъ къ травѣ и попыталась ползти на четверенькахъ.

Увидя этотъ новый способъ передвиженія, сторожъ вдругъ исчезъ и вернулся черезъ минуту съ какой-то толстой бабой; оба нагнулись и молча съ тупымъ любопытствомъ смотрѣли на Софью Ивановну; затѣмъ баба обернулась назадъ и стала манить къ себѣ кого-то рукою...

Это ужъ черезъ-чуръ! Быть посмѣшищемъ цѣлой банды бездѣльниковъ. Слезы выступили на глазахъ Софьи Ивановны.

Красная, растрепанная, злая, устала она насколько могла удобнѣе и рѣшила ждать.

— Вѣдь, есть же у него какое-нибудь дѣло — думала она, — не можетъ же онъ весь день тутъ стоять. Увидить, что я сижу спокойно и уйдетъ.

И она, принявъ самую непринужденную позу, дѣлала видъ, что превосходно проводить время; любовалась природою, рвала одуванчики и даже стала напѣвать «Уста мои молчатъ». Черезъ нѣсколько минутъ, остано-

рожно, скосивъ глаза, она взглянула наверхъ. — „Нахаль!“

Сторожъ не вѣрилъ ей беззаботности и продолжалъ стоять все на томъ же мѣстѣ, словно ожидая отъ нея чего-то особеннаго.

Напускная бодрость покинула Софью Ивановну. Она приемирѣла, закрыла лицо руками и стала терпѣливо ждать.

— Божественная!.. — долетѣлъ до нея тягучій голосъ.

— Ахъ, пахаль!—вздрогнула отъ негодованія Софья Ивановна.—Онъ смѣетъ еще заговаривать!

— Божественная! Я чувствовалъ ваше присутствіе здѣсь... Меня влекло сюда!..

Нѣтъ это не онъ — голосъ снизу. Софья Ивановна опустила руки: «Господи! Только этого не хватало! Опять проклятый декадентъ! Опять сцена отъ Петьки!»

Граціозно откинувъ длинноволосую голову, держа шляпу въ горизонтально-вытянутой рукѣ, стоялъ у подпояска насыпи маленькій, худощавый господинъ въ клѣтчатомъ костюмѣ, съ развѣвающимися концами страннаго зеленого галстука и не смотрѣлъ, а созерцалъ растерявшуюся Софью Ивановну.

— Я помѣшалъ вамъ мечтать, — загнусавилъ онъ снова.—Я поднимаюсь къ вамъ! Мнѣ такъ хочется послушать ваши грезы!..

И, не дождавшись отвѣта, онъ взмахнулъ руками, съ видомъ птицы, собравшейся взлетѣть, и сталъ быстро подыматься.

— Вотъ, вѣдь, влѣзаютъ же люди,—съ горечью думала Софья Ивановна, глядя на него, — почему же я такая несчастная!..

— У вашихъ ~~бзгъ~~ лежать, синьора,

И я, и жизнь, и честь, и мечъ!—

продекламировалъ «декадентъ», садясь у ея ногъ и восторженно глядя на нее бѣлесоватыми глазками.

— Это ваше?

— Мм... Почти.

— Что это значить: „почти“?

— Значить, что это стихотвореніе Толстого, но я его перевралъ,—мечтательно отвѣчалъ тотъ.—О, какъ я радъ, что мы снова вмѣстѣ!.. Я хотѣлъ такъ много, такъ бесконечно много сказать вамъ...

— Очень пріятно, только я тороплюсь домой.

— Странная манера торопиться, сидя на одномъ мѣстѣ. И зачѣмъ вамъ домой?

— Къ пяти часамъ вернется Петръ Игнатьевичъ...

— Кто вернется?

— Петръ Игнатьевичъ.

— Петръ Игнатьевичъ?—«Декадентъ» презрительно прищурилъ глаза.—Кто это такой, этотъ Петръ Игнатьевичъ?

— Какъ кто? — обиженно удивилась Софья Ивановна.—Мой мужъ! Странно, что вы, двѣ недѣли тому назадъ, были у насъ въ домѣ и не знаете, какъ зовутъ хозяина.

— Простите!.. Я разсѣянъ... Я страдалъ... Но мы не будемъ говорить объ этомъ, не спрашивайте меня, я не хочу — слышите? — Онъ повелительно сдвинулъ брови и замолкъ на нѣсколько минутъ, потомъ, видя что Софья Ивановна все-таки не начинаетъ спрашивать «объ этомъ», сказалъ тономъ человѣка, искусственно мѣняющаго тему разговора: — И такъ... гдѣ же вашъ мужъ?

— Онъ уѣхалъ съ восьмичасовымъ въ „Конттики“; тамъ сортируютъ вагоны, или что-то въ этомъ родѣ, не умѣю вамъ объяснить. А теперь помогите мнѣ ради Бога слѣзть отсюда, — прибавила она смущенно. — Я этого и сижу здѣсь такъ долго, что никакъ не могу одна...

«Декадентъ» пришелъ въ восторженное умиленіе.

— О! Какъ это женственно! Безпомощно-женственно! Дайте мнѣ ваши руки, я донесу васъ.

— Я не могу вамъ дать руки, потому что наступлю тогда на платье и упаду—понимаете?

— Платье можно подколоть булавками,—и къ величайшему удивленію Софьи Ивановны, онъ, отвернувъ бортикъ своего клѣтчатаго пиджака, вытащилъ нѣжолько булавокъ, воткнувшихъ въ него.

— Какой вы странный!—Зачѣмъ вы носите съ собою булавки?

— Не спрашивайте... это символъ!..

Наконецъ платье подколото, декадентъ съ безумнымъ видомъ схватилъ ее за обѣ руки и, выставивъ впередъ каблучекъ своего желтенькаго башмачка, поскакалъ внизъ. Софья Ивановна спотыкалась, падала, подымалась, отбивалась, вырывалась,—но онъ крѣпко впился въ ея руки и выпустилъ ихъ только тогда, когда она, испуганная и запыхавшаяся, стояла внизу и, не смѣя поднять голову, думала о сторожѣ: „видѣлъ или не видѣлъ?“...

— Какое блаженство,—шепталъ декадентъ, съ трудомъ переводя дыханіе и утирая лобъ платкомъ—какое блаженство, этотъ бѣшеный полетъ! Но скажите, какъ вы сюда попали, прибавилъ онъ, подавая ей зонтикъ.

— Я думала, что скорѣе попаду домой, если пойду

вѣрхомъ. Я ходила въ деревню, узнать пасхотъ телятины.

— Какъ вы сказали?

— Что какъ сказала?..

— Вы произнесли какое-то слово... — онъ, мечтательно сощуривъ глаза, глядѣлъ на облако.

— Я сказала, что ходила за телятиной... Какой въ странный!

— Простите! Мнѣ слышалось, что вы сказали что-то по итальянски. Те-ля-ти-на... Те-ля-ти-на... прощенталь онъ.

— Хорошо-же вы, должно быть знаете итальянскій языкъ...

— Я не могу знать его плохо. Понимаете? Не могу знать его плохо, потому-что не знаю совсѣмъ.

Софья Ивановна замолчала и стала придумывать, какъ-бы ей деликатнѣе отвязаться отъ своего спутника. Ей очень не хотѣлось, чтобы ихъ увидѣли вмѣстѣ, такъ какъ бѣдный „декадентъ“ былъ почему то особенно несимпатиченъ ея ревнивому мужу. Петръ Игнатьевичъ не отвѣтилъ ему на визитъ, и когда встрѣтилъ его съ Софьей Ивановной на музыкѣ въ городскомъ саду, немедленно увелъ жену домой и закатилъ ей сцену, какой, какъ говорится и „старожилы не запомнить“. Послѣ этой исторіи Софья Ивановна старательно избѣгала опаснаго поэта, терпѣливо ожидая осени, когда онъ уберется къ себѣ въ Петербургъ. Мужа положимъ теперь на станціи нѣтъ — онъ въ „Коптикахъ“, но все равно ему насплетничаютъ... А съ другой стороны нельзя же его прогнать сразу — все-таки челоуѣкъ услугу оказалъ. А и некрасивъ же онъ, го-

дубчикъ, взглянула она искоса. Пѣтухъ—не пѣтухъ... чортъ знаетъ что!..

— Я знаю о чемъ вы сейчасъ подумали,—прервалъ опъ ея мысли.

— О чемъ?—испугалась Софья Ивановна.

— Вы подумали о томъ, что жизнь ваша безцвѣтна и тосклива... Зачѣмъ вы здѣсь живете? Развѣ вы не чувствуете, что созданы блистать въ свѣтѣ?

Софья Ивановна успокоилась.

— Дѣйствительно скучно, но мужу обѣщали скоро большую станцію. Тогда будетъ веселѣе.

— Вы постоянно сводите разговоръ на мужа: Это прямо какой-то „незримый червь“!

Софья Ивановна хотѣла обидѣться, но мелькнувшій вдали красный зонтикъ отвлекъ ея вниманіе.

— Ой, ой, ой! Вѣдь это Курина!.. Жена помощника! — Она стала торопливо приглаживать волосы, оправлять платье...—Вѣдь нужно-же, какъ на грѣхъ.. мерзкая сплетница! Перейдемте скорѣй на ту сторону полотна, на запасный путь, пока она пась не замѣтила.

Они быстро свернули налѣво и, перепрыгнувъ черезъ проволоку семафора, приблизились къ длиннымъ рядамъ товарныхъ вагоновъ, безконечною цѣпью тянувшихся къ станціи, темная крыша которой выдѣлилась тусклымъ пятномъ на сверкающей синевѣ южнаго неба.

— Скорѣй! скорѣй! — торопила Софья Ивановна,—на крайній путь; тамъ никого не встрѣтимъ.

Тяжело гремя спущенными цѣнями, прошелъ мимо паровозъ, обдавъ ихъ цѣлымъ клубомъ затхлаго дыма и, тревожно свистнувъ нѣсколько разъ, остановился!

Стрѣлочникъ, помахивая краснымъ флагомъ выльзъ изъ подъ вагона и, скосивъ глаза на Софью Ивановну, затрубилъ въ рожокъ.

— Должно быть, онъ знаетъ кто я, — подумала Софья Ивановна, и какъ страусъ втянула голову въ плечи, закрываясь зонтикомъ.

Они обогнули первый рядъ вагоновъ, пролѣзли между колесами второго, кое-какъ протискались между расцѣпленными буферами третьяго и тутъ только вздохнули свободно, чувствуя себя въ безопасности. Здѣсь не было ни души. Издали доносилась перекличка локомотивовъ, да отвѣчавшій имъ меланхолическій рожокъ стрѣлочника. Порою, далеко за крышами вагоновъ, быстро проносилось гигантское облако бѣлаго пара, протяжный рѣзкій свистъ разрѣзалъ воздухъ, затѣмъ опять все стихло. Да здѣсь никто не видитъ. Кругомъ одни вагоны.

Софья Ивановна обмахивалась платкомъ, слуывая падавшіе на глаза растрепанные волосы.

— Такъ вотъ этотъ забытый путь!—говорилъ декантъ, глядя на поросшіе травой рельсы, уставленные товарными вагонами, съ открытыми зіяющими, какъ черныя пасти, входами, съ безпомощно повисшими цѣпями. — Забытый путь! Какъ это красиво звучитъ! Въ этомъ словѣ цѣлая поэма. Забытый путь!.. Я чувствую какое-то странное волненіе, повторяя это слово... Я вдохновляюсь!.. — онъ зажмурился, втянулъ щеки и открылъ ротъ, какъ дѣти, когда они представляютъ покойника.

Скажи когда-нибудь „забуди“.

Но, никогда тебя я не забуду,

Забытый путь!..

Опъ медленно открылъ глаза.

— Я разработаю это въ поэмѣ и посвящу вамъ.

— Мерси. Только рифмы у васъ не хватаетъ.

— Такъ вамъ нужна рифма? О! какъ это банально! Вамъ нравятся рифмы! Эти пошлыя мѣщанки, ищущія себѣ подобныхъ, гуляющія попарно. Я ненавижу ихъ! Я заключаю свободную мысль въ свободныя формы, безъ грапей, безъ мѣрокъ, безъ...

— Ахъ, Боже мой!..—смотрите, тамъ идутъ!—прервала его Софья Ивановна, указывая на группу рабочихъ, шедшихъ въ ихъ сторону.—И, кажется, Петинъ помощникъ съ ними!.. Куда намъ дѣться?!

— Спрячемся въ пустой вагонъ и обождемъ пока они уберутся—предложили находчивый поэтъ.

— Я его не боюсь, — продолжала Софья Ивановна, топчась въ волненіи на одномъ мѣстѣ, — только я такая растрепанная... и не могу же я ему объяснить при рабочихъ, что лѣзла на насыпь... Господи! Какъ это все глупо!

— Серьезно, самое лучшее переждать въ вагонѣ.

— Да какъ-же я туда попаду? Тутъ и подножки пѣтъ.

— Позвольте, я подсажу васъ. Только поторопитесь, а то они насъ замѣтятъ.

Софья Ивановна кое-какъ влѣзла, оборвавъ окончательно кружевную оборку и запачкавъ платье обо что-то очень скверное. За нею слѣдомъ вскочилъ и декадентъ, обнаруживъ необычайную ловкость и розовые чулочки, съ голубыми крапинками.

— Теперь встанемъ въ тотъ уголокъ.—У! какъ здѣсь темно и прохладно. Все это напоминаетъ мнѣ милую, старую сказку... И жутко... и сладко.

— Ахъ, да замолчите-же, они сейчасъ подойдутъ,—
просила Софья Ивановна.

— Забытый путь!—не унимался декадентъ.—

Но, никогда тебя онъ не забудеть,
Забытый путь!“

Онъ вдругъ замолкъ, прижавъ палецъ къ губамъ и таинственно приподнявъ брови. Къ вагону подходили: слышались шаги, голоса... Остановились около...

— Этотъ послѣдній вагонъ, что ли?

— Помощникъ! Петинъ помощникъ! — думала Софья Ивановна, замирая отъ страха.—Господи! Какъ все это глупо! Зачѣмъ я сюда залѣзла!.. Вѣдь это совсѣмъ скандалъ, если насъ увидятъ!..

— Отцѣпили?—спросилъ тотъ же голосъ.

— Го-то-во!—прокричалъ кто-то. Дверь вагона, двигаемая чьей-то рукою съ грохотомъ захлопнулась... Тихо простоналъ рожокъ стрѣлочника, гдѣ-то недалеко отозвался свисткомъ паровозъ и вдругъ вагонъ, дрогнувъ, какъ отъ сильнаго толчка, весь заколыхался, и, тихо, покачиваясь, мѣрно застучалъ колесами.

— Господи, Боже мой!.. Да что-же это?...—шептала Софья Ивановна.—Они, кажется повезли насъ куда-то.

— Да, мы какъ будто ѣдемъ, — растерянно согласился поэтъ.

— Вѣроятно нашъ вагонъ переводятъ на другой путь...

— Ужъ это вамъ лучше знать. Вы жена начальника станціи, а я не обязанъ понимать этихъ маневровъ.

— Не злитесь, сейчасъ остановимся и выльземъ, когда рабочіе уйдутъ.

— И какая атмосфера ужасная! Грязь! Какія-то корки валяются, даже присѣсть некуда.

— Здѣсь, должно быть, перевозили собакъ!..

Колеса застучали ровнѣе и шибче, очевидно, по-вздъ прибавлялъ ходу.

— Не могу понять, въ какую сторону мы ѣдемъ: къ „Лычевкѣ“ или „Контикамъ?“—голосъ Софьи Ивановны дрожалъ.

— Я самъ не понимаю. Попробую немножко открыть дверь.

— Напрасно! Я слышала, какъ задвинули засовъ. „Декадентъ“ схватился за голову.

— Это, наконецъ, чортъ знаетъ, что такое! Нѣтъ! Я узнаю, куда они меня везутъ!—Онъ вынулъ изъ кармана перочинный ножикъ и сталъ сверлить въ стѣнѣ дырочку, но дерево было твердое и толстое и попытка не дала никакихъ результатовъ. Тогда онъ присѣлъ и сталъ буравить полъ. Тоже пользы мало. Онъ кинулся снова къ стѣнѣ и принялся за нее съ другого конца.

— Ахъ! Да полно вамъ!—злилась Софья Ивановна.— Ну, что вы глупости дѣлаете!.. Только раздражаете!

— Такъ это васъ раздражаетъ?! Благодарю покорно!—вскинулся на нее поэтъ.—Человѣкъ впутался изъ-за васъ въ глупѣйшую исторію, а вы же еще и раздражаетесь.

— Какъ изъ-за меня?—возмутилась Софья Ивановна.—Кто посовѣтовалъ залѣзть въ вагонъ? Я бы сама никогда такой глупости не придумала... идіотства такого...

— Вы, кажется, желаете ругаться?Предупреждаю васъ,

что совершенно не способенъ поддерживать разговоръ въ такомъ тонѣ.

— А, ѣмъ лучше! Не желаю вовсе разговаривать съ вами...

— Прекрасно.—Декадентъ помолчалъ минуту и затѣмъ сталъ обращаться непосредственно къ Богу:

— Господи!—воскличалъ онъ, хватаясь за голову.— За что? За что мнѣ такая пытка?! Развѣ я сдѣлалъ что-нибудь дурное?

Софья Ивановна тихо стонала въ своемъ углу.

— За что наказуеши?—взвиль декадентъ рѣшивъ, что къ Богу удобнѣе адресоваться по славянски.—Наказуеши за что?!

Душно было въ полутемномъ вагонѣ. Черезъ пробитое подъ самой крышей маленькое окошечко, вѣрнѣе отдушину, слабо мерцалъ дневной свѣтъ, озаряя невеселую картину: Софья Ивановна, въ позѣ самаго безнадежнаго отчаянія, поникнувъ головой, безпомощно опустивъ руки, прижалась въ уголокъ, съ ненавистью слѣдя за своимъ спутникомъ.

Декадентъ метался, упрекалъ Бога и сверлилъ вагонъ перочиннымъ ножичкомъ.

А поѣздъ все мчался, все прибавлялъ ходу, весело гремя цѣпями, соединяющими звенья его гигантскаго тѣла, и не чувствовалъ, какая страшная драма разыгрывается въ самыхъ нѣдрахъ его. Но вотъ колеса застучали глуше, толчки сдѣлались сильнѣе и рѣже. Софья Ивановна замѣтила, какъ мимо окошечка проплыла большая розовая стѣна:—подходили къ станціи. Загудѣлъ свистокъ паровоза; еще нѣсколько толчковъ и поѣздъ остановился.

Софья Ивановна подошла къ двери и стала при-

слушиваться. Декадентъ, вынувъ изъ кармана зеркальце и гребешокъ, приводилъ въ порядокъ прическу.

— Вотъ, идиотъ! Точно не все равно въ какомъ онъ видѣ будетъ вылѣзать изъ собачьяго вагона!

— Что же теперь прикажете дѣлать? — спросилъ поэтъ такимъ тономъ, словно все, что происходило, было придумано самой Софьей Ивановной и вполнѣ отъ нея зависѣло.

— Нужно постучать... Господи, какъ все это глупо!.. Рабочіе... смѣяться будутъ... Все равно, я не могу дольше ѣхать... Я измучилась!..—и она горько заплакала.

Къ вагону подходили.

— Мало что не поспѣть! Ты торопись. Сейчасъ тронется!—Проворчалъ кто-то за дверью.

Софья Ивановна робко стукнула и вдругъ, набравшись смѣлости, отчаянно забарабанила руками и ногами.

— Ахъ подлецы!—закричалъ странно знакомый голосъ.—Не выгрузивши свиней, отправлять вагонъ! Я вамъ покажу мерррзавцы! Отворить!

Засовъ съ грохотомъ отодвинулся.

— Петинъ голосъ!.. Петя!.. Господи, помоги! Скажу, что нарочно къ нему... Заждалась съ обѣдомъ... безпокоилась... Боже мой! Боже мой!

Тррахъ!.. Дверь открыта. Удивленные лица желѣзнодорожныхъ служащихъ... вытаращенные глаза Петра Игнатьича...

Она забыла все, что приготовилась сказать и, напряженно улыбаясь, со слезами на глазахъ, неожиданно для себя самой пролептала: „Пора обѣдать!“

— Спасибо за сюрпризъ,—мрачно отвѣтилъ мужъ.

помогая ей слѣзть и пристально всматриваясь въ темный уголъ вагона, гдѣ, затаивъ дыханіе, недвижно замеръ бѣдный „декадентъ“. Вдругъ ноздри Петра Игнатьевича дрогнули, шея налилась кровью...

— Пломбу!—скомандовалъ онъ, обращаясь къ кондуктору и, собственноручно задвинувъ однимъ ударомъ сильной руки тяжелую дверь вагона, надписалъ на ней мѣломъ: „Въ Харьковъ черезъ Москву и Житомиръ“.

— Готово!

Приложили пломбу. Кондукторъ свиснулъ, вскакивая на тормазъ. Стукнули буфера, звякнули дѣпи, глухо зарокотали колеса. Поѣздъ тронулся...

„О, никогда тебя онъ не забудетъ,
Забытый путь!“...

ЖИЗНЬ И ВОРОТНИКЪ.

Человѣкъ только воображаетъ, что безпредѣльно властвуетъ надъ вещами. Иногда самая невзрачная вещь втрется въ жизнь, закрутитъ ее и перевернетъ всю судьбу не въ ту сторону, куда бы ей надлежало идти.

Олечка Розова три года была честной женой честнаго человѣка. Характеръ имѣла тихій, застѣнчивый, на глаза не лѣзла, мужа любила преданно, довольствовалась скромной жизнью.

Но вотъ какъ-то пошла она въ Гостиный дворъ и, разглядывая витрину мануфактурнаго магазина, увидѣла крахмальныи дамскій воротникъ, съ прoderнутой въ него желтой ленточкой.

Какъ женщина честная, она сначала подумала «еще что выдумали!» Затѣмъ зашла и купила.

Примѣрила дома передъ зеркаломъ. Оказалось, что если желтую ленточку завязать не спереди, а сбоку, то получится нѣчто такое, необъяснимое, что однако скорѣе хорошо, чѣмъ дурно.

Но воротничекъ потребовать новую кофточку. Изъ старыхъ ни одна къ нему не подходила.

Олечка мучилась всю ночь, а утромъ пошла въ

Гостинный дворъ и купила кофточку изъ хозяйственныхъ денегъ.

Примѣрила все вмѣстѣ. Было хорошо, но юбка портила весь стиль. Воротникъ ясно и опредѣленно требовалъ круглую юбку съ глубокими складками.

Свободныхъ денегъ больше не было. Но не останавливаться же на полъ-пути?

Олечка заложила серебро и браслетку.

На душѣ у нея было безпокойно и жутко, и когда воротничекъ потребовалъ новыхъ башмаковъ, она легла въ постель и проплакала весь вечеръ.

На другой день она ходила безъ часовъ, но въ тѣхъ башмакахъ, которые заказалъ воротничекъ.

Вечеромъ, блѣдная и смущенная она, заикаясь, говорила своей бабушкѣ:

— Я забѣжала только на минутку. Мужъ очень боленъ. Ему докторъ велѣлъ каждый день натираться коньякомъ, а это такъ дорого.

Бабушка была добрая, и на слѣдующее же утро Олечка смогла купить себѣ шляпу, поясъ и перчатки, подходящіе къ характеру воротничка.

Слѣдующіе дни были еще тяжелѣе.

Она бѣгала по всѣмъ роднымъ и знакомымъ, лгала и выклянчивала деньги, а потомъ купила безобразный полосатый диванъ, отъ котораго тошнило и ее, и честнаго мужа, и старую вороватую кухарку, но котораго уже нѣсколько дней настойчиво требовалъ воротничекъ.

Она стала вести странную жизнь. Не свою. Воротничковую жизнь. А воротникъ былъ какого-то неяснаго путанаго стиля, и Олечка, угождая ему, совсѣмъ сбилась съ толку.

— Если ты англійскій и требуешь, чтобъ я ѣла

сою, то зачѣмъ же на тебѣ желтый бантъ? Зачѣмъ это распутство, котораго я не могу понять и которое толкаетъ меня по наклонной плоскости?

Какъ существо слабое и безхарактерное, она скоро опустила руки и поплыла по теченію, которымъ ловко управлялъ подлый воротникъ.

Она обстригла волоса, стала курить и громко хохотала, если слышала какую-нибудь двусмысленность.

Гдѣ-то въ глубинѣ души еще теплилось въ ней сознаніе всего ужаса ея положенія, и иногда по ночамъ или даже днемъ, когда воротничекъ стирался—она рыдала и молилась, но не находила выхода.

Разъ даже она рѣшилась открыть все мужу, но честный малый подумалъ, что она просто глупо пошутила и, желая польстить, долго хохоталъ.

Такъ дѣло шло все хуже и хуже.

Вы спросите — почему не догадалась она просто-на-просто вышвырнуть за окно крахмальную дрянь?

Она не могла. Это не странно. Всѣ психіаторы знаютъ, что для нервныхъ и слабосильныхъ людей, нѣкоторыя страданія, несмотря на всю мучительность ихъ, становятся необходимыми. И не промѣняють они эту сладкую муку на здоровое спокойствіе—ни за что на свѣтѣ.

Итакъ, Олечка слабѣла все больше и больше въ этой борьбѣ, а воротникъ укрѣплялся и властвовалъ.

Однажды ее пригласили на вечеръ.

Прежде она нигдѣ не бывала, но теперь воротникъ напялился на ея шею и поѣхалъ въ гости. Тамъ онъ велъ себя развязно до неприличія и вертѣлъ ея головой направо и налево.

За ужиномъ студентъ, Олечкинъ сосѣдъ, пожалъ ей подъ столомъ ногу.

Олечка вся вспыхнула отъ негодованія, но воротникъ нее отвѣтилъ:

— Только-то?

Олечка со стыдомъ и ужасомъ слушала и думала:

— Господи! Куда я попала?!

Послѣ ужина студентъ вызвался проводить ее домой. Воротникъ поблагодарилъ и радостно согласился прежде чѣмъ Олечка успѣла сообразить, въ чемъ дѣло.

Едва сѣли на извозчика, какъ студентъ зашепталъ страстно!

— Моя дорогая!

А воротникъ пошло захихикалъ въ отвѣтъ.

Тогда студентъ обнялъ Олечку и поцѣловалъ прямо въ губы. Усы у него были мокрые и весь поцѣлуй дышалъ маринованной корюшкой, которую подавали за ужиномъ.

Олечка чуть не заплакала отъ стыда и обиды, а воротникъ ухарски повернулъ ея голову и снова хихикнулъ:

— Только-то?

Потомъ студентъ съ воротникомъ поѣхали въ ресторанъ слушать румыновъ. Пошли въ кабинетъ.

— Да вѣдь здѣсь нѣтъ никакой музыки!—возмущалась Олечка.

Но студентъ съ воротникомъ не обращали на нее никакого вниманія. Они пили ликеръ, говорили пошлости и цѣловались.

Вернулась Олечка домой уже утромъ. Двери ея открылъ самъ честный мужъ.

Онъ былъ блѣденъ и держалъ въ рукахъ ломбардныя квитанціи, вытащенные изъ Олечкина стола.

— Гдѣ ты была? Я не спалъ всю ночь! Гдѣ ты была?

Вся душа у нея дрожала, но воротникъ ловко велъ свою линію.

— Гдѣ была? Со студентомъ болталась!

Честный мужъ пошатнулся.

— Оля! Олечка! Что съ тобой! Скажи, зачѣмъ ты закладывала вещи? Зачѣмъ занимала у Сатовыхъ и у Яниныхъ? Куда ты дѣвала деньги?

— Деньги? Профукала!

И заложивъ руки въ карманы, она громко свистнула, чего прежде никогда не умѣла. Да и знала-ли она это дурацкое слово — „профукала“? Она-ли это сказала?

Честный мужъ бросилъ ее и перевелся въ другой городъ.

Но что горше всего, такъ это то, что на другой же день послѣ его отъѣзда воротникъ потерялся въ стиркѣ.

Кроткая Олечка служить въ банкѣ.

Она такъ скромна, что краснѣетъ даже при словѣ „омнибусъ“, потому что оно похоже на „обнимусъ“.

— А гдѣ воротникъ?—спросите вы.

— А я то почему знаю,—отвѣчу я. Онъ отданъ былъ прачкѣ, съ нея и спрашивайте.

Эхъ, жизнь!

СЕЗОНЪ БЛѢДНОЛИЦЫХЪ.

Когда наступаетъ такъ-называемый «лѣтній сезонъ», жены, матери, сестры, дѣти, няньки, кухарки и гувернантки, — словомъ, вся проза жизни выѣзжаетъ изъ города.

Какъ ни странно, но, кромѣ признанныхъ законовъ природы и гражданина, существуютъ еще такіе, о которыхъ никто не знаетъ, но которымъ всѣ слѣпо подчиняются.

Скажите: есть ли такой законъ, что человѣкъ лѣтомъ непремѣнно долженъ сѣзжать съ того мѣста, гдѣ онъ живетъ зимой?

Я знаю, что вы скажете.

Вы скажете, что закона такого нѣтъ, но что человеку вполне естественно мѣнять душный городъ на деревенскую прохладу.

Вотъ тутъ то вы и попадете впросакъ: о прохладѣ никто и не заботится.

Докажу примѣромъ.

Сотни петербуржцевъ ѣдутъ на лѣто въ Лугу. А жители Луги выѣзжаютъ въ окрестности города. Провинціалы сплошь и рядомъ прѣзжаютъ на лѣто въ Петербургъ (вы скажете — за прохладой?). Многіе ѣз-

дять лѣтомъ въ Севастополь, откуда мѣстные жители разбѣгаются. Или въ Одессу, которая лѣтомъ тоже невыносима.

Не ясно ли, что дѣло здѣсь не въ прохладѣ?

Признаемся откровенно:

— Каждое лѣто находить на насъ странная блажь. И гоняетъ насъ съ мѣста на мѣсто.

Если же сами мы не можемъ почему-либо сдвинуться, то выгоняемъ, по крайней мѣрѣ, жену съ гувернантками.

Остается въ городѣ только «труженикъ-мужъ блѣднолицый», которому, какъ извѣстно, «не до сна».

И весь городъ принимаетъ особый, „блѣднолицый“ видъ.

Женщинъ и дѣтей становится меньше.

Ляпы на женщинахъ становятся больше.

Открываются загородные сады и театры.

Въ театрахъ особый, „блѣднолицый“ репертуаръ ганцуютъ „матчинъ“, лягаютъ „поло-поло“ и лаютъ басомъ „парагвай-гвай-гвай“. Последнее считается икантинымъ.

Всѣ пьесы стараются ставить съ музыкой. О постановкѣ не особенно заботятся, потому что все равно ничего не видно.

Если сидишь во второмъ ряду, то иногда можно ухитриться увидѣть кусочекъ сцены въ щелочку между ухомъ и шляпой той дамы, которая сидитъ въ первомъ ряду.

Остальные ничего не видятъ.

Одинъ провинціалъ пріѣхалъ специально въ Петербургъ посмотреть „Веселую вдову“.

Очень разочаровался.

— Вотъ такъ веселая вдова! Нечего сказать! Просто черная будка съ зеленымъ бантомъ. Музыка еще туда сюда, а ужъ посмотрѣть совсѣмъ не на что.

Ну, на то онъ и провинціалъ. Опытныхъ людей не проведешь!

Они живо разберутъ, что шляпа, а что сцена.

Опытному человѣку если станетъ любопытно, что на сценѣ происходитъ, онъ поманитъ къ себѣ капельдинера, сунетъ ему двугривенный и шепнетъ на ушко:

— Пойди-ка ты, братецъ, да разнюхай хорошенько, что у нихъ тамъ дѣлается. Потомъ приди, расскажи. Толково расскажешь,--еще гривенникъ получишь.

Капельдинеру, конечно, пріятно тоже заработать. Ну, онъ и старается. Если усердный человѣкъ попадется, такъ онъ такъ распишетъ, что и смотрѣть не надо. Лучше автора.

Въ Зоологическомъ саду тоже начинается „блѣднолицый“ сезонъ.

Администрація дѣятельно къ нему готовится.

Всюду прибиты дощечки съ самыми странными надписями, предугадывающими и запрещающими самыя неожиданныя ваши желанія.

«Медвѣдя покорнѣйше просятъ зонтикомъ не дразнить».

Какіе тонкіе психологи додумались до этихъ словъ! Какъ могли они знать, что при видѣ медвѣдя у человѣка должно явиться непреодолимое желаніе дразнить его зонтикомъ? И почему именно зонтикомъ? Какъ жутко, что самыя сокровенныя и темныя движенія нашей души предугаданы администраціей Зоологическаго сада!

«Не совать окурковъ верблюду въ носъ» тоже „по-корнѣйше просить господъ посѣтителей“.

Замѣьте, какая спецификація. Администрація прекрасно знаетъ, что никому не придетъ въ голову дразнить верблюда зонтикомъ или совать окурки медвѣдю въ носъ. Поэтому это и не запрещается. Вѣроятно, даже и случая такого не было.

Дѣйствительно, гдѣ же найдется такой идиотъ, который сталъ бы дразнить верблюда зонтикомъ? Вотъ медвѣдя,—это вполне естественно. Хотя и нехорошо.

Какое, должно быть, странное представленіе о людяхъ сложилось у звѣрей Зоологическаго сада!

Двуногіе, красноносые, съ трудомъ удерживающіе равновѣсіе

У ихъ самокъ болтаются мѣховые хвосты совсѣмъ не на томъ мѣстѣ, гдѣ это указано природой для всѣхъ животныхъ... А на головѣ у нихъ птичьи трупы...

Ходятъ красноносые, смотрятъ тусклыми глазами въ благородныя горящія звѣриныя очи.

Высовываетъ тюлень голову изъ своей грязной лужи. Съ недоумѣніемъ оглядывается кругомъ.

— Эт-та что за рыба? — тычетъ зонтикомъ двупогій.—Че-а-екъ! Свари мнѣ изъ нея уху! На пять персонъ!

КАРЬЕРА СЦИПИОНА АФРИКАНСКАГО.

Театральный рецензентъ заболѣлъ. Написалъ въ редакцію, что вечеромъ въ театръ идти не можетъ, просилъ авансъ на поправленіе здоровья и обстоятельствъ, но билета не вернулъ.

А между тѣмъ рецензія о спектаклѣ была необходима.

Послали къ рецензенту, но посланный вернулся ни съ чѣмъ. Больного вторыхъ сутки не было дома.

Редакторъ заволновался. Какъ быть? Билеты всѣ распроданы.

— Я напишу о спектаклѣ, — сказалъ печальный и тихій голосъ.

Редакторъ обернулся и увидѣлъ, что голосъ принадлежитъ печальному хроникеру съ уныло вопросительными бровями.

— Вы взяли билетъ?

— Нѣтъ. У меня нѣтъ билета. Но я напишу о спектаклѣ.

— Да какъ же вы пойдете въ театръ безъ билета?

— Я въ театръ не пойду, — все такъ же печально отвѣчалъ хроникеръ, — но я напишу о спектаклѣ.

Подумали, посоветовались и положились на хроникера и на кривую.

Черезъ часъ рецензія была готова:

„Александринскій театръ поставилъ неудачную ~~по~~ ~~сти~~ ку „Горе отъ ума“, написанную нѣкимъ господиномъ Грибоѣдовымъ. (Зачѣмъ брать псевдонимомъ такое извѣстное имя) Sic!..

— А вѣдь онъ ядовито пишеть,—сказалъ редакторъ и продолжалъ чтеніе:

„Написана пьеса въ стихахъ, что наша публика очень любитъ, и хотя полна прописной морали, но поставлена очень прилично (Sic!). Хотя многимъ здравомыслящимъ людямъ давно надоѣла фраза вродѣ «О, закрой свои блѣдныя ноги», какъ сочиняютъ наши декаденты. Не мѣшало бы нѣкоторымъ актерамъ и актрисамъ потверже знать свои роли (Sic! Sic!)“.

— А вѣдь и правда,—подумалъ редакторъ.—Очень не мѣшаетъ актеру знать потверже свою роль. Какое мѣткое перо!

„Изъ исполнителей отмѣтимъ г-жу Савину, которая обнаружила очень симпатичное дарованіе и справилась съ своей ролью съ присущей ей миловидностью. Остальные всѣ были на своихъ мѣстахъ.

Автора вызывали послѣ третьяго дѣйствія. Sic! Sic! transit!“

Сципіонъ Африканскій.

— Это что же?—удивился редакторъ на подпись.

— Мой псевдонимъ,—скромно опустил глаза печальный хроникеръ.

— У васъ бойкое перо, сказалъ редакторъ и задумался.

Наступили скверныя времена. Наполнять газету было нечѣмъ. Наняли спеціального человѣка, который сидѣлъ, читалъ набранныя статьи и подводилъ ихъ подъ законы.

„Пять лѣтъ каторжныхъ работъ! Лишеніе всѣхъ правъ! Высылка на родину! Штрафъ по усмотрѣнію! Конфискація! Запрещеніе розничной продажи! Крѣпость!“

Слова эти гулко вылетали изъ редакторскаго кабинета, гдѣ сидѣлъ спеціальный человѣкъ и наполняли ужасомъ редакцію.

Недописанныя статьи летѣли въ корзину, дописанныя сжигались дрожащими руками.

Тогда Сципіонъ Африканскій пришелъ къ растерянному редактору и грустно сказалъ:

— У васъ нѣтъ матерьяла, такъ я вамъ приведу жирафовъ.

— Что?—даже поблѣднѣлъ редакторъ.

— Я приведу вамъ въ Петербургъ жирафовъ изъ Африки. Будетъ много статей.

Недоумѣвающій редакторъ согласился.

На другой же день въ газетѣ появилась интересная замѣтка о томъ, что одно высокопоставленное африканское лицо подарило одному высокопоставленному петербургскому лицу четырехъ жирафовъ, которыхъ и приведутъ изъ Африки прямо въ Петербургъ сухимъ путемъ. Гдѣ нельзя—тамъ вплавь.

Жирафы тронулись въ путь на другой же день. Путешествіе было трудное. По дорогѣ они хворали, и Сципіонъ писалъ горячія статьи о способѣ леченія звѣрей и апеллировалъ къ обществу покровительства животнымъ. Потомъ написалъ самъ себѣ письмо о томъ,

что стыдно думать о скотахъ, когда народъ голодаетъ. Потомъ отвѣтилъ самъ себѣ очень рѣзко и въ концѣ концовъ такъ самъ съ собой сдѣлся, что пришлось вмѣшаться редактору, который боялся, что дѣло кончится дуэлью и скандаломъ. Еле уломали: Сципіонъ согласился на третейскій судъ.

А жирафы между тѣмъ шли да шли. Гдѣ-то въ Калькуттѣ, куда они очевидно забрели по дорогѣ, у нихъ родились маленькія жирафята и понадобилось сдѣлать привалъ. Но природа, окружающая отдохавшихъ путниковъ, была такъ дивно хороша, что пришлось помѣстить нѣсколько снимковъ изъ Ботаническаго сада. Кто-то изъ подписчиковъ выразилъ письменное удивленіе по поводу того, что въ Калькуттѣ лѣса растутъ въ кадкахъ, но редакція казнила его своимъ молчаніемъ.

Жирафы были уже подъ Кавказомъ, гдѣ туземцы устраивали для нихъ живописныя празднества, когда редакторъ неожиданно призвалъ къ себѣ Сципіона.

— Довольно жирафовъ—сказалъ онъ. Теперь начинается свобода печати. Займемся политикой. Жирафы не нужны.

— Господи! Куда-жъ я теперь съ ними дѣвусь? — затосковалъ Сципіонъ съ такимъ видомъ, точно у него осталось на рукахъ пятеро дѣтей малъ-мала-меньше.

Но редакторъ былъ неумолимъ.

— Пусть сдохнутъ—сказалъ онъ. Мнѣ какое дѣло.

И жирафы сдохли въ Оренбургѣ,—куда ихъ зачѣмъ-то понесло.

* * *

Журналистовъ не пустили въ Думу и газета, въ которой работалъ Сципiонъ, осталась безъ „кулуаровъ“. Настроенiе было унылое.

Сципiонъ писалъ самъ себѣ телеграммы изъ Лондона, Парижа и Берлина, гдѣ сообщалъ самыя потрясающія извѣстiя и въ слѣдующемъ номерѣ, провѣривъ, краснорѣчиво опровергалъ ихъ.

А кулуары все-таки были нужны.

— Сципiонъ Африканскiй, — взмолился редакторъ. — Можетъ быть вы какъ-нибудь сможете...

— Ну разумѣется могу. Что кулуары — волкъ что-ли? Очень могу.

На слѣдующiй же день появились въ газетѣ „кулуары“.

„Прекрасная зала екатерининскихъ временъ, гдѣ нѣкогда гулялъ самъ свѣтлѣйшiй повелитель Тавриды, оглашается теперь зрѣлищемъ народныхъ представителей.“

Вотъ идетъ П. Н. Милюковъ.

— Здравствуйте Павелъ Николаевичъ! — говорить ему молодой симпатичный кадетъ.

— Здравствуйте! Здравствуйте! — привѣтливо отвѣчаетъ ему лидеръ партiи народной свободы и пожимаетъ его правую руку своей правой рукой.

А вотъ и Ѳ. И. Родичевъ.

Его высокая фигура видна еще издали.

Онъ весело разговариваетъ съ своимъ собесѣдникомъ. До насъ долетаютъ слова:

„Такъ вы еще не завтракали?“.. „Нѣтъ, Ѳедоръ Измайловичъ, еще не успѣлъ“.

Едва успѣли мы занести это въ свою книжку, какъ уже наталкиваемся на еврейскую группу.

— Ну что, вы все еще против погромов?

— Безусловно противъ,—отвѣчаетъ улыбаясь группа и проходить дальше.

Ожидается бурное засѣданіе и Маклаковъ (Василій Алексѣевичъ) видный брюнетъ, потираетъ руки.

Послѣ краткой бесѣды съ социаль-демократами мы вынесли убѣжденіе, что они безповоротно примкнули къ партіи с.-д.

Вотъ раздалась звонкая польская рѣчь: это бесѣдуютъ между собою два представителя польской группы.

Въ глубинѣ залы у колоннъ стоитъ Гучковъ.

— Какого вы мнѣнія, Александръ Ивановичъ, о блокѣ съ кадетами?

Гучковъ улыбается и дѣлаетъ неопредѣленный жестъ.

У входа въ кулуары два крестьянина горячо толкуютъ объ аграрной реформѣ.

Въ буфетѣ у стойки закусываетъ селедкой Пуришкевичъ, который принадлежитъ къ крайнимъ правымъ.

„Нонича, теперича, тае-тае“,—говорятъ мужички въ кулуарахъ.

* * *

— «Послѣдній Лучъ» меня переманиваетъ, то-есть кулуары, — съ безъисходной грустью заявилъ Сципiонъ.

Редакторъ вздохнулъ, оторвалъ четвертушку бумаги и молча написалъ:

„Въ контору.

Выдать Сципіону Аѳриканскому (Савелію Апелъсину) авансомъ чотыреста (400) рублей съ погашеніемъ 30%.

Вздохнулъ еще разъ и протянулъ бумажку Сципіону.

ИЗЯЩНАЯ СВѢТОПИСЬ

Кто хочетъ быть глубоко, безысходно несчастнымъ?

Кто хочетъ дойти до отчаянія самаго мрачнаго, самаго чернаго, съ зелеными жилками (гладкіе цвѣта теперь не въ модѣ)?

Желающихъ, знаю, найдется не мало, но никто не знаетъ, какъ этого достигнуть. А, между тѣмъ, дѣло такое простое...

Нужно только пойти и сняться въ одной фотографіи. Конечно, я не такъ глупа, чтобы сейчасъ-же выкладывать ея имя и адресъ. Я сама узнала ихъ путемъ тяжелаго испытанія, пусть теперь попадутся другіе; можетъ быть, это дастъ мнѣ нѣкоторое удовлетвореніе... Ахъ! ничто насъ такъ не утѣшаетъ въ несчастіи, какъ видъ страданія другого—такъ сказалъ одинъ изъ заратустрствующихъ.

Къ тому же я слышала, что эта фотографія не единственная въ такомъ родѣ. Ихъ нѣсколько, даже, можетъ быть, много. Такъ что если повезетъ, то легко можно напасть на желаемую. (Впрочемъ, нападетъ-то она сама на васъ!...)

Узнала я обо всемъ не особенно давно.

И такъ это все вышло странно... Шла я какъ то, вечеромъ по Невскому. Было уже темно. Зажгли фонари. На небѣ тоже стемнѣло, и зажгли звѣзды.

Мой спутникъ впалъ въ лирическое настроеніе, говорилъ о томъ, что все въ природѣ очень мудро, а на углу Троицкой приостановился и, указывая тросточкой на Большую Медвѣдицу, дважды назвалъ ее «Прекрасной Кассіопеей».

Я подняла голову и уже приготовилась возражать, какъ вдругъ наверху, надъ крышами,—что то мигнуло. Мелькнулъ лукавый бѣлый огонекъ. Вспыхнулъ, мигнулъ. Ему отвѣтилъ другой немного подальше. Затѣмъ третій.

— Кто это тамъ перемигивается, ночью, подъ чернымъ небомъ?—подумала я.—Дѣло какъ будто не со всѣмъ чисто.

Навели справки. Мнѣ сказали, что это фотографіи, работающія при свѣтѣ магнія.

Ну, что-жъ—магній такъ магній.

Я повѣрила, но въ душѣ осталась какая-то смутная тревога.

И не даромъ.

* * *

Отъ моей подруги отказался женихъ. Отказался отъ доброй, красивой (да—красивой; продолжаю на этомъ настаивать!) и умной барышни, которую онъ страстно любилъ, которой еще мѣсяцъ тому назадъ писалъ—я сама видѣла—писалъ: «единственная! цѣлую твои мелкія калоши!»

Отказался! Положимъ онъ прибавилъ, что можетъ быть скоро застрѣлится—но ей отъ этого какой про-
фитъ.

Несчастье произошло оттого, что она подарила ему медальонъ со своимъ портретомъ.

Онъ страшно обрадовался медальону, открылъ его, поблѣднѣлъ и тихо-тихо сказалъ:

— Однако!

Больше ничего. Только это „однако“ и было.

За обѣдомъ онъ ничего не ѣлъ и былъ очень за-
думчивъ. Потомъ во время кофе попросилъ невѣсту
повернуться на минутку въ профиль. Затѣмъ вскочилъ
и уѣхалъ.

На другое же утро невѣста получила отъ него увѣ-
домленіе, что онъ не созданъ для семейной жизни. И
все было кончено.

* * *

Недавно одни мои добрые знакомые чуть было не
отвезли свою единственную дочь въ лечебницу для
душевно-больныхъ. Я навѣстила несчастныхъ родите-
лей, и они рассказали мнѣ слѣдующее: недѣли двѣ
тому назадъ отправилась ихъ дочь въ фотографію за
пробною карточкою. Вернулась она совсѣмъ разстро-
енная, сказала, что карточка будто бы не готова, отка-
залась отъ театра и весь вечеръ плакала. Ночью жгла
въ своей комнатѣ какіе-то картонны (показаніе прислуги),
а въ шесть часовъ утра влетѣла въ спальню матери
съ громкимъ требованіемъ сейчасъ же массировать ей
правую сторону носа.

— Несчастливая!—урезонивала ее мать,—опомнись.

— Не могу я опомниться,—отвѣчала безумная,—когда у меня правая сторона носа втрое толще лѣвой, когда она доминируетъ надъ лицомъ.

Такъ и сказала—доминируетъ. Каково это матери выслушивать!

Къ обѣду она, однако, какъ будто и поуспокоилась, зато ночью прокралась въ комнату отца, стащила бритву и сбрила себѣ правую бровь, а утромъ побѣжала къ дантисту и умоляла, чтобъ онъ распилилъ ей ротъ съ лѣвой стороны. Тутъ ее голубушку и сцапали.

Наняли въ лечебницѣ комнату, стали собирать вещи. Вдругъ слышать кричить прислуга истошнымъ голосомъ. Кинулись къ ней, глядятъ, а у нея въ рукахъ барышнина карточка. Описывать карточку я не стану, хотя мнѣ ее показывали; еще, пожалуй, подумаютъ, что я подражаю Эдгару Поэ. Скажу одно: мать пролежала два дня въ истерикѣ, отецъ подалъ въ отставку, кухарка сдѣлалась за повара и потребовала прибавки жалованья...

Теперь они уѣзжаютъ изъ Петербурга, гдѣ оставляютъ столько тяжелыхъ воспоминаній...

*
* * *

Была я на-дняхъ въ фотографіи и дожидалась, чтобы мнѣ выдали пробныя карточки одной знакомой дамы. Сижу, жду. Высокая, тощая особа роется въ книгахъ и квитанціяхъ съ видомъ оскорбленнаго достоинства.

Вдругъ звонокъ. Входитъ энергичный, оживленный

господинъ и спрашиваетъ свой портретъ. Тощая особа оскорбляется еще глубже и съ холоднымъ презрѣніемъ подаетъ ему карточку. Господинъ нѣсколько изумленно смотритъ, затѣмъ начинаетъ добродушно улыбаться.

— Ха! Это который же я?

Особа „холодна и блѣдна какъ лилія“ и молча указываетъ длиннымъ перстомъ.

— Ха! Ну и р-рожа! Отчего это щеку-то так вздуло?

— Такое освѣщеніе.

— А носъ отчего эдакой, pardon, клюквой?

— Такой ракурсъ.

— Гм... Уди-витель-но! А гдѣ шея? Гдѣ моя шея?

— Шея у васъ вообще очень коротка, а тутъ такой поворотъ.

— Зачѣмъ же вы, чортъ возьми, pardon, такъ меня посадили?

Нѣсколько минутъ тягостнаго молчанія.

— А это кто же рядомъ со мной сидитъ?

— Это?—(бѣглый взглядъ на карточку)—Разумѣется, ваша супруга.

— Супруга?—въ ужасѣ переспрашиваетъ господинъ.—Ишь-ты! Какъ же она могла здѣсь выйти, когда я съ ней еще въ девяносто шестомъ году разошелся. Когда она, pardon, живетъ въ Самарѣ у тетки.

— Фотографія не можетъ быть отвѣтственна за поведеніе вашей жены...

— Позвольте! Да вѣдь это вѣрно Сашка, pardon, Александръ Петровичъ, съ которымъ я приходилъ сниматься! Ну, конечно! Смотрите вонъ и сюртукъ его...

— Фотографія не можетъ быть отвѣтственна за костюмы вашихъ пріятелей.

Господинъ сконфузился и попросилъ завернуть карточки, но вдругъ остановилъ тощую особу и робко спросилъ:

— Не можете-ли вы мнѣ сказать, чей это ребенокъ вышелъ тамъ у меня на колѣняхъ.

Особа долго и внимательно разсматриваетъ карточку, подходитъ къ окну, зажигаетъ лампочку и наконецъ, холодно заявляетъ.

— Это вовсе не ребенокъ. Это у васъ такъ сложены руки.

— Не ребенокъ? А какъ же вонъ носикъ и глазки?

Впрочемъ, тѣмъ лучше, тѣмъ лучше! Мнѣ, pardon, было бы ужасно неудобно и даже непріятно если бы это оказался ребенокъ... Ну, куда бы я дѣлся съ маленькимъ ребенкомъ на рукахъ?

— Фотографія не можетъ быть отвѣтственна.

— Ну да! ну да! Очень радъ. Но все-таки—уди-вительная игра лучей.

Онъ ушелъ. Мнѣ выдали карточку моей знакомой, гдѣ она, почтеная старуха, начальница пансіона, была изображена съ двумя парами бровей и однимъ лихо-закрученнымъ усомъ, который, Впрочемъ, при внимательномъ разсмотрѣніи черезъ лупу оказался бахромкой отъ драпировки. Но я уже знала, что фотографія не можетъ быть отвѣтственна.

Я не захотѣла огорчать бѣдную женщину и бросила карточку въ Екатерининскій каналъ.

Все равно тамъ рыба дохнетъ.

* * *

Часто приходится встрѣчать людей блѣдныхъ, разстроенныхъ, страдающихъ страннымъ недугомъ. Они робко спрашиваютъ у знакомыхъ, не кривое-ли у нихъ лицо? Не косить-ли глазъ? Не перегнулся-ли носъ черезъ верхнюю губу? И на отрицательный отвѣтъ недовѣрчиво и безнадежно отмахиваются рукой.

Ихъ жалѣютъ и имъ удивляются.

Но я не удивляюсь. Я знаю, въ чемъ дѣло. Знаютъ также и тѣ, кто перемигивается по ночамъ высоко подъ крышами, подъ самымъ чернымъ небомъ.

О Н Ъ П О Ю Т Ъ...

Онѣ начинаютъ пѣть часовъ съ шести утра. Изъ окна моей комнаты я могу видѣть прачешную, гдѣ онѣ работаютъ, и вылетающіе изъ дверей клубы бѣлаго пара, словно пронизаннаго стальными вибрирующими нитями, ихъ звонкими и глухими, рѣзкими и тягучими разнообразно-ужасными голосами.

Отъ голосовъ этихъ нельзя ни укрыться, ни спастись. Они найдутъ и разыщутъ васъ всюду, они прервутъ вашъ сонъ, оторвутъ ваше вниманіе отъ работы, отъ интересной книги, и, незримымъ тонкимъ крючкомъ подцѣпивъ вашу протестующую и негодующую душу, потянутъ ее въ царство пошлости, изъ которой рождены.

Нужно бѣжать, прямо бѣжать на улицу, — мелькаетъ въ головѣ. Но вы бросаете взглядъ на письменный столъ, гдѣ лежитъ неоконченная работа, вспоминаете раскаленные камни мостовой и остаетесь дома.

А онѣ поютъ, поютъ, поютъ... Репертуаръ ихъ пѣсенъ самый несложный, но къ нему никогда нельзя привыкнуть, какъ не могли привыкнуть дѣти Якова Д'Арманьяка къ тому, что, по приказанію Генриха VIII, имъ выдергивали каждый день по одному зубу; не могли, несмотря на все однообразіе этой пытки.

Куда уплыла широкая стонущая волна старой русской пѣсни, съ ея грустными захватывающими переживаниями, съ наивными бессознательно-красивыми словами? Неужели она безповоротно вытѣснена безобразными и бессмысленными фабричными напѣвами? Въ глуши Могилевской губерніи, на разстояніи болѣе ста верстъ отъ желѣзной дороги, деревенскія бабы распѣваютъ «Канхветка моя лядинистая». Этотъ гостинецъ, вмѣстѣ съ безобразными «модными» кофтами, принесли имъ мужья изъ далекихъ городовъ, куда они ходятъ на заработки.

Знаменитыя пѣсни «Не одна во полѣ дороженька» „Не бѣлы снѣги“ — заброшены совсѣмъ. Деревенская молодежь ихъ не любитъ, говорить, что это пѣсни мужицкія (оказывается, что мужикамъ не нравится „мужицкое“, ихъ же собственное свойство!).

Я вспоминаю эти красивыя, полузабытыя пѣсни, а тѣ, тамъ внизу, все поютъ и поютъ! Сегодня нѣтъ между ними согласія и единства. Каждая тянетъ свое. Вотъ широкимъ сѣрымъ винтомъ крутится однообразная тоскливая мелодія, прерываемая длинными паузами, во время которыхъ я замираю отъ ожиданія, отъ смутной надежды, что этотъ куплетъ былъ послѣднимъ. Но винтъ продолжаетъ кружиться, ввинчивается въ мои мысли, разбиваетъ ихъ...

„Мамашенька руга-ала!“

Широко, повѣствовательно и убѣдительно сообщаетъ новый тягучій голосъ, и мнѣ кажется, что я вижу источникъ его — растянутый поблекшій ротъ, увѣнчанный круглымъ краснымъ носомъ, и я всецѣло, становлюсь на сторону „мамашеньки“, которая ругала.

А вотъ другой восторженный голосъ предлагаетъ

полюбоваться совершенно невообразимымъ пейзажемъ,
но, должно быть, упоительнымъ.

„Посмотри надъ рѣкой
Вьется мраморъ морской“.

А вотъ еще новый куплетъ, который даже приводитъ меня въ умиленіе.

„Напишу я твой портретъ,
Господа будутъ съѣзжаться,
На портретикъ любоваться,
Въ одинъ голосъ говорить:
Да и что это за прелесть!
Неужели —человѣкъ?“

О, свѣтлая, дѣвственная, нетронутая глупость! Глупость, передъ которой, по словамъ Гете, преклонялись даже боги!

А онѣ все поютъ, поютъ... Я ненавижу ихъ! Я возмущаюсь противъ себя самой, но я ненавижу ихъ! Я стараюсь внушить себѣ мысль, что это бѣдныя женщины труженицы, что пѣсню своей онѣ скрашиваютъ жизнь, облегчаютъ трудъ, что это ихъ неотъемлемое право, но мысль эта скользить по поверхности моей души, не затрагивая ее.

Потомъ я начинаю утѣшать себя, что не могутъ онѣ пѣть безъ отдыха весь день. Должны же онѣ, наконецъ, хоть обѣдать, что-ли! И я представляю себѣ большіе, огромные куски хлѣба, которыми мысленно затыкаю всѣ эти отверзтые, звенящіе и гудящіе рты.

Но онѣ, вѣроятно, обѣдаютъ по очереди, потому что голоса ихъ не смолкаютъ весь день.

„Не смѣйся надо мной,
Господь тебя накажетъ
Возвратною женой“.

„Возвратною женой!“ Какъ это звучитъ! „Возврат-

ная жена!“ Словно возвратный тифъ. Нѣтъ, еще хуже Мой утомленный мозгъ рисуешь мнѣ странныя, нелѣпыя картины... А онѣ все поютъ, поютъ...

Я смотрю на часы—четыре! Итакъ, полдня я слушаю ихъ. Да, да! Онѣ поютъ, а я слушаю! Мнѣ начинается казаться, что я сошла съ ума, что реально существовать не можетъ такого ужаса.

Въ продолженіе получаса думаю объ инквизиціонныхъ пыткахъ. Торквемада! Дѣтскія забавы! Грубые примитивные приемы для вызова физическихъ страданій.

Прачку! Одну петербургскую прачку нужно было имѣть.

Я мысленно предаю всѣхъ своихъ враговъ, затѣмъ друзей и родственниковъ, затѣмъ клевету на близкихъ и дальнихъ своихъ. Какой жертвы хочешь ты отъ меня еще, прачка?

Послѣднее средство: возьму старую, давно знакомую, давно любимую книгу. Она захватитъ мою душу уведетъ ее за собою. Я беру томъ Шекспира, открываю его и, оборачиваясь къ окну, говорю заклинаніе: „Прачка! Трехвѣковая нетлѣнная красота въ рукахъ моихъ. Сгинь! Пропади!“

Я читаю, глаза скользятъ по строчкамъ, которыхъ я не вижу, не понимаю, не могу понять. Я слышу какъ „ругаетъ мамашенька“ и „вьется надъ рѣкой морской мраморъ“! Спасенья нѣтъ. Я бросаю книгу и начинаю метаться по комнатѣ, ломая руки и повторяя какъ Лэди Макбетъ: „It will make me made! It will make me made!“

А онѣ все поютъ! поютъ! поютъ!...

АНАӨЕМЫ.

„...Многіе голоса высказались на кіевскомъ міссіонерскомъ сѣздѣ за постановленіе личнаго церковнаго анаөематствованія, какъ исправительной мѣры“.

Изъ газетъ.

Молодой дьяконъ Владыкѣ своемушуйцулобызяиценскій озабоченно разбиралъ на столѣ груду записочекъ, сортировалъ ихъ, откладывалъ стопками.

— Пятнадцать анаөемъ, да четыре онамедняшнихъ, которыя, значить, онамедни поступили... да еще десять старыхъ анаөемъ...

— Ты чего, отецъ, ругаешься? — съ упрекомъ сказала дьяконица.

Дьяконъ бросилъ на нее вскользь удивленный взглядъ и продолжалъ свою работу.

— Да казенныхъ анаөемъ... Гришка Отрепьевъ... бояринъ графъ Левъ Толстой, иже написа „Анну Каренину“, да частнаго поступленія разъ... два... о, Господи!.. восемь... одиннадцать анаөемъ! Однѣхъ частныхъ анаөемъ одиннадцать!

— А ты бы отобралъ, отецъ. Можетъ, которыя не къ спѣху, такъ и отложить можно.

— Не отложишь! Это, братъ, матушка, не пустякъ Служба!

— Ну, отвалий какъ-нибудь. Чего тамъ!

— Отвалий? Нѣтъ, братъ, не отвалиешь! Это въ промежъ себя, по женскому дѣлу, такъ у васъ все въ скороговорку идетъ. „Ахъ, ты, такая, молъ, сякая, анае́ма! Отъ анае́мы и слышу!“ У насъ эдакъ нельзя. Дѣло отвѣтственное. Нужно голосомъ вывести.

Вонъ еще двѣ какія-то записочки. Эти-то что? „О здравіи болящей Макриды“. Нашли время!.. Лѣзутъ съ Макридой! Тутъ отъ одной анае́мы не продохнуть. Вонъ, господинъ пѣвецъ Собиновъ прислалъ анае́му на всѣхъ собинистокъ „иже фа діезъ не приѣмлютъ...“ Кажись, такъ, ежели я не спуталъ чего.

— Трудно нынче жить стало! — вздохнула дьяконица. — Все какъ-то по особенному...

— Отъ Луриха... „Сатирикону“ анае́ма, иже не пята задомъ, подобно Симу и Іафету, прикры наготу чѣмпионову, но яко Хамъ надругался. И будьте добры, отецъ діаконъ, ежели возможно, до седьмого колѣна...“ Опытная рука писала. Посовѣтуюсь.

— Охъ! Дѣла, дѣла!

— Отъ тайнаго совѣтника Акимова... Государственному Совѣту анае́ма! Господи! И съ чего бы это? Вотъ, ужъ, именно, какъ сказано: сами себя и другъ друга. Буквально — весь животъ свой! Неисповѣдимо! Вотъ сама посуди, діаконица, исповѣдимо-ли это?

— Какъ быдто нѣтъ. Казенная анае́ма-то?

— Нѣтъ, приватнаго свойства.

— Мудреное дѣло! Какъ кончишь — пойди на кухню, тамъ тебя баба спрашиваетъ.

— Баба? Скажи, что теперь не до молебновъ. Ежели

покойничекъ доспѣетъ, такъ пусть на погребкѣ ле-
жить. Небось, не убѣжитъ. Не разорваться же. Кре-
стины? Я на крестины поѣду, а анаемы ждать будутъ?
Нѣтъ, это не дѣло. Позови-ка бабу сюда. Тебѣ чего?
А? Крестить? Соборовать?

— Батюшка, — кланялась баба, — яви такую божеску
милость! Хушь немножечко! Хушь одинъ разокъ. Свѣ-
тильникъ ты нашъ! Хушь шопоткомъ въ полчаса!

— Да, ты насчетъ чего?

— Да, насчетъ этой самой... насчетъ анаемы! Ужъ
такая-ли она анаема, что и произнести нельзя! Ужъ
эдакой анаемы и свѣтъ не производилъ! У кого хо-
чешь спроси. Нашъ волостной писарь тоже человѣкъ,
а ужъ и тотъ говорить, что ежели она...

— Да, кто анаема-то?

— Да свекровушка моя! Вся деревня знаетъ. Кого
хочь спроси! Ужъ эдакой анаемы... Прослышаны мы,
что теперь можно въ церкви, ну и порѣшили промежъ
себя. Анъ, думаю, пойду къ отцу дьякону, поклонюсь
ему курицей. Потому, такъ ее сколько ни гвозди, она
и ухомъ не поведетъ. А ежели церковнымъ поряд-
комъ—это дѣло крѣпкое!

Діаконъ задумался.

— Нѣтъ, тетка, это дѣло неподходящее.

— Ужъ вѣрь, батюшка совѣсти! Ужъ ежели это не
анаема, такъ ужъ и не знаю.

— Не лѣзь тетка, — вмѣшалась дьяконица. — Гово-
рять тебѣ, нельзя. Ужасно балованный народъ пошелъ.
Распущенности! Сегодня прихожу въ кухню, а Ксюшка,
анаема, сидитъ и толстовскую книжку про мужика
читаетъ. Ты это, говорю, что читаешь? Ты, говорю,
анаема, анаему читаешь?..

— Явите божеску милость,—захныкала баба.— Ну хошь разохъ! Курицей поклонюсь.

— Хоть пѣтухомъ, а ежели нѣтъ указа.

— Какъ нѣтъ?

— А такъ. Разрѣшеніе отъ полиціи имѣешь? Докторское свидѣтельство есть? Да еще правильно-ли твоя анаѣема прописана? Можетъ, у нея документъ не въ порядкѣ. Тутъ вонъ, матушка, какія лица анаѣематствуютъ. Можно сказать, личности! А ты съ пустякомъ лѣзешь. Развѣ можно!

— Можно! Сама слышала. Вся деревня знаетъ. Графа-то, намедни какъ проклинали? А? Анаѣема! Распроанаѣема. И чтобы трижды проклять и дважды злѣять, тѣфу, тѣфу и тѣфу! Всѣ знаютъ! Думаешь, темный народъ, такъ и правъ своихъ не понимаетъ? Графу такъ и то, и се, и на всѣхъ амвонахъ, а какъ простому человѣку, такъ и сунуться некуда! Видно господамъ-то вездѣ не то, что нашему брату.

Ну, Богъ съ тобой, коли тебѣ, дьяконъ, сиротская слеза не солона. Пойду домой. Ужъ я жъ ее анаѣему облаю. Хошь мы и темный народъ, на попа, на дьякона не учены... Сиди безъ курицы!

КЪ ТЕОРИИ ФЛИРТА.

Такъ называемый „флиртъ мертваго сезона“ начинается обыкновенно,—какъ должно быть каждому извѣстно—въ срединѣ юня и длится до середины августа. Иногда (очень рѣдко) захватываетъ первыя числа сентября.

Арена „флирта мертваго сезона“ преимущественно Лѣтній садъ

Ходятъ по боковымъ дорожкамъ. Только для перваго и втораго rendez-vous допустима большая аллея. Далѣе пользоваться ею считается уже безтактнымъ.

„Она“ никогда не должна приходить на rendez-vous первая. Если же это и случится по оплошности, то нужно поскорѣе уйти, или куда-нибудь спрятаться.

Нельзя также подходить къ условленному мѣсту прямой дорогой, такъ, чтобы ожидающій могъ видѣть вашу фигуру издали. Въ большинствѣ случаевъ это бываетъ крайне невыгодно. Кто можетъ быть вполнѣ отвѣтственъ за свою походку? А разныя маленькія случайности въ родѣ расшалившагося младенца, который на полномъ ходу ткнулся вамъ головой въ колѣна или угодилъ мячикомъ въ шляпу? Кто гарантированъ отъ этого?

Да, если и все сойdetь благополучно, то попробуйте-ка пройти сотни полторы шаговъ, соблюдая всѣ законы граціи, сохраняя легкость, изящество, скромность, легкую кокетливость и вмѣстѣ съ тѣмъ сдержанность, элегантность и простоту.

Сидящему гораздо легче.

Если онъ мужчина,—онъ читаетъ газету, или „нервно курить папиросу за папирсой“.

Если женщина—задумчиво чертитъ по песку зонтикомъ, или грустно поникнувъ смотритъ, какъ догораетъ закатъ. Очень недурно также ошипывать лепестки цвѣтка.

Цвѣты можно всегда купить по сходной цѣнѣ тутъ же около сада, но признаваться въ этомъ нельзя. Нужно дѣлать видъ, что они самага загадочнаго происхожденія.

Итакъ, дама не должна приходить первая. Кромѣ того случая, когда она желаетъ устроить сцену ревности. Тогда это не только разрѣшается, но даже вмѣняется въ обязанность.

— А я уже хотѣла уходить...

— Боже мой! Отчего же?

— Я ждала васъ почти полчаса.

— Но, вѣдь, вы назначили въ три, а теперь еще безъ пяти минутъ...

— Конечно, вы всегда окажетесь правы...

— Но, вѣдь, часы...

— Часы здѣсь не причемъ...

Вотъ прекрасная интродукція, которая рекомендуется всѣмъ въ подобныхъ случаяхъ.

Дальше уже легко.

Можно прямо сказать:

— Ахъ да... между прочимъ, я хотѣла у васъ спросить, кто та дама... и т. д.

Это выходитъ очень хорошо.

Еще одно важное замѣчаніе: сцены ревности всегда устраиваются въ Таврическомъ саду. Отнюдь не въ Лѣтнемъ. Почему? А я почему знаю—почему! Такъ ужъ принято. Не нами заведено, не нами и кончится.

Да, кромѣ того,—попробуйте ка въ Лѣтнемъ! Ничего не выйдетъ.

Таврической специально приноврелень. Тамъ и печальныя дорожки и тихіе пруды („я желаю только покоя!..“) [и видъ на Государственную Думу (...и я еще могъ надѣяться!..“).

Да, вообще, лучше Таврическаго сада на этотъ предметъ не выдумаешь.

Одно плохо: въ Таврическомъ саду всегда страшно хочется спать. Для бурной сцены это условіе мало подходящее. Для меланхолической—великолѣпно.

Если вамъ удастся зѣвнуть совершенно незамѣтно, то вы можете поднять на „него“ или на „нее“ свои „изумленные глаза, полные слезъ“ и посмотреть съ упрекъ.

Если же вы ненарокомъ зѣвнете слишкомъ ужъ откровенно, то вы можете скорбно и кротко улыбнувшись, сказать: „это нервное“.

Вообще, флиртующимъ рекомендуется къ самымъ неэстетическимъ явленіямъ своего обихода приурочивать слово „нервное“. Это всегда очень облагораживаетъ.

У васъ, напимѣръ, сильный насморкъ, и вы чихаете, какъ кошка на лежанкѣ. Чиханье, не правда-ли,—всегда почему-то принимается, какъ явленіе очень комическаго разряда. Даже самъ чихнувшій всегда сму-

щенно улыбается, точно хочет сказать: „вот видите, я смѣюсь, я понимаю, что это очень смѣшно, и вовсе не требую отъ васъ уваженія къ моему поступку!“.

Чиханье для флирта было-бы гибельнымъ. Но, вотъ, тутъ-то и можетъ спасти во время сказанное „ахъ! это нервное!“.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ особо интенсивнаго флирта даже флюсъ можно отнести къ разряду нервныхъ заболѣваній. И вамъ повѣрять. Добросовѣстный флиртеръ непремѣнно повѣритъ.

Ликвидировать флирты мертваго сезона можно двояко. И въ Лѣтнемъ саду, и въ Таврическомъ. Въ Лѣтнемъ проще, и изящнѣе. Въ Таврическомъ нуднѣе, затяжнѣе, но эффектнѣе. Можно и поплакать, „поднять глаза полные слезъ“...

При прощаніи въ Лѣтнемъ саду очень рекомендуется остановиться около урны и, обернувшись, окинуть послѣдній разъ грустнымъ взоромъ завѣтную аллею. Это выходитъ очень хорошо. Урна, смерть, вѣчность, умирающая любовь, и вы въ полуоборотѣ, шляпа въ ракурсѣ... Этотъ моментъ не скоро забудется. Затѣмъ быстро повернитесь къ выходу, и смѣшайтесь съ толпой.

Не вздумайте только, Бога ради, торговаться съ извозчикомъ. Помните, что вамъ глядятъ вслѣдъ. Ужъ лучше, понуривъ голову, идите черезъ цѣпной мостъ (ахъ, онъ тоже сбросилъ свои сладкія цѣпи!). Идите не оборачиваясь вплоть до Пантелеймоновской. Тамъ уже можете купить Гала Петера и откусить кусочекъ.

Считаю нужнымъ прибавить къ свѣдѣнію господь

флиртеровъ, что теперь совсѣмъ вышло изъ моды при каждой встрѣчѣ говорить:

— Ахъ! это вы?

Теперь уже всѣ понимаютъ, что разъ условлено встрѣтиться, то ничего нѣтъ! и удивительнаго, что человѣкъ пришелъ въ назначенное время на назначенное мѣсто.

Кромѣ того, если въ разгарѣ флирта вы неожиданно натолкнетесь на какого-нибудь стараго пріятеля, то вовсе не обязательно при этомъ восклицаніе.

— Ахъ! Сегодня день неожиданныхъ встрѣчъ. Только что встрѣтилась съ... (имя рекъ софлиртующаго), а теперь, вотъ, съ вами!

Когда то это было очень ловко и тонко. Теперь никуда не годится.

Старо и глупо.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Выслужился	7
Проворство рукъ	16
Покаянное	22
Свой человѣкъ	27
Въ стерео-фото-кине-мато-скопо-біо-фоно и проч.— графъ	31
Курортъ	35
Взамѣнъ политики	40
Новый циркуляръ	46
Модный адвокатъ	53
Веселая вечеринка	59
Игра	70
Семейный аккордъ	74
Даровой конь	78
Переоцѣнка цѣнностей	83
Политика воспитываетъ	88
Семья разговляется	93
Нянькина сказка про кобылю голову	99
Страшный ужасъ	105
За стѣной	111
Политика и наука	124
Утѣшитель	130
Корсиканецъ	134

Морскіе сигналы	138
Страшный прыжокъ	142
Патріотъ	150
Изъ весенняго дневника	155
Дача	161
Забытый путь	168
Жизнь и воротникъ	182
Сезонъ блѣдно-лицыхъ	187
Карьера Сципіона Африканскаго	191
Изящная свѣтопись	198
Онѣ поютъ	205
Анаемы	209
Къ теоріи флирта	213

Леонидъ Андреевъ. Царь Голодь. Представленіе въ пяти картинахъ съ прологомъ. Рисунки Е. Лансере. Ц. **1 р.**

Леонидъ Андреевъ. Анатэма. Ц. **1 р.**

Леонидъ Андреевъ. Т. V. Содержаніе: Іуда Искаріотъ и др. Елеазаръ. Жизнь челоѣка. Великанъ. Тьма. ц. **1 р. 25 к.**

Леонидъ Андреевъ. Т. VI ц. **1 р. 25 к.**

Леонидъ Андреевъ. Т. VII ц. **1 р. 25 к.**

Бор. Зайцевъ. Разказы. Книга I. (3-е изданіе).

Волки. Мгла. Тихія зори. Священникъ Кронидъ. Хлѣбъ, Люди и Земля. Деревня. Мифъ. Черные вѣтры. Завтра. Цѣна **50 коп.**

Бор. Зайцевъ. Разказы. Книга II.

I. Полковникъ Розовъ. Молодые. Ласка. II. Любовь Май. III. Сестра. Гость. IV. Аграфена. V. Спокойствіе. Ц. **1 р.**

С. Сергѣевъ-Ценскій. Разказы. Томъ I.

Тундра. Умру я скоро. Маска. Взмахъ крыльевъ. Дифтеритъ. Бредъ. Уголокъ. Вѣрю. Скука. Поляна. Погость. Молчальники. Садъ. Батенька. Убійство. Цѣна **1 руб. 25 к.**

С. Сергѣевъ-Ценскій. Разказы. Томъ II.

Снѣжное поле. Мертвецкая. Кукушка. Гроза. Ясный день. Проталина. Ожиданіе. Пьяный Курганъ. Отъ трехъ бортовъ. Безстѣнное. Цѣна **1 руб. 25 коп.**

С. Сергѣевъ-Ценскій. Томъ III. Цѣна **1 руб. 25 коп.**

С. Сергѣевъ-Ценскій. Томъ IV. Лѣсная топь. Печаль полей. Небо. Ц. **1 р. 25 к.**

В. Муйжель. Разказы. Томъ I.

Мужичья смерть. Въ кухнѣ. Солдаты. Аренда. Бабыя жизнь. Цѣна **1** руб. (конфискованъ).

Маркъ Криницкій. Разказы. Томъ I. Содержаніе:

Тора-Аможе. Наслѣдственность. Необходимость жить. Тайна барсука. Матерія. Проклятье. Ефимъ. Слѣпецъ. Пошлость. Ложь. Оплоть общества. Цѣна **1** руб.

Маркъ Криницкій. Т. II печатается.

Шаломъ Ашъ. Разказы. Томъ I. Цѣна **1** руб.

Ведоръ Сологубъ. Собраніе сочиненій:

Томъ I. Стихи	Ц. 1 р. 50 к.
„ II. Тяжелые сны.	1 „ 75 „
„ III. Разказы	1 „ 25 „
„ IV. Разказы	1 „ 25 „
„ V. Стихи	1 „ 50 „
„ VI. Мелкій бѣсъ	1 „ 75 „
„ VII. Разказы	1 „ 25 „
„ VIII. Драмы	1 „ 50 „
„ IX. Стихи	1 „ 50 „
„ X. Сказки и статьи	1 „ 25 „

Осипъ Дымовъ. Разказы кн. I. **1** „ **25** „

Петръ Ножевниковъ. Разказы кн. II. **1** „ **25** „

Г. Чулковъ. Разказы кн. I. **1** „ — „

„ „ „ II. **1** „ **25** „

С. Городецкій. Разказы кн. I. **1** „ — „

С. Рафаловичъ. На вѣсахъ справедливости. . . **1** „ **50** „

Г. Чулковъ. Анархическія идеи въ драмахъ Ибсена. Цѣна **30** к.

Н. Новальскій Терновый вѣнецъ. Разсказы.

Первый валъ. Весна. Только шагъ! Смѣхъ и плачъ.

Полуночное солнце. На черноземѣ. Человѣкъ, который...

Тоска по родинѣ. Цѣна **1** руб.

Октавъ Мирбо. 638 — Е — 8. (Путешествіе въ автомобилѣ).

Единственный, разрѣшенный авторомъ, переводъ съ рукописи для издательства «Шиповникъ» (З. Венгеровой и Л. Бинштока). Цѣна **1** руб. **25** коп.

Анатолий Франсъ. Островъ пингвиновъ. Единственный, разрѣшенный авторомъ переводъ съ рукописи З. Венгеровой.

Цѣна **1** руб. **40** коп.

Байронъ. Каинъ. Переводъ Ив. Бунина. Обложка, заставка и концовки. В. Чемберса. Цѣна въ переплетѣ **1** р. **50** к. безъ переплета **75** коп..

Евг. Тарасовъ. Земныя дали. Вторая книга стиховъ. Обложка И. Билибина. Цѣна **60** коп.

Н. Д. Бальмонтъ. „Птицы въ воздухѣ“. Строки напѣвныя. Обложка И. Билибина. Цѣна **2** руб.

Н. Д. Бальмонтъ. Зеленый вертоградъ. Слова поцѣлуйныя. Обложка И. Билибина. Цѣна **2** руб.

Андрей Бѣлый. Пепелъ. Цѣна **2** руб.

Тэффи. Семь огней. Стихи. Цѣна **1** рубль.

А. Серафимовичъ. Дѣтскіе разсказы (съ рисунками Кустодіева) Цѣна **1** рубль

А. Ремизовъ. Морщинка (сказка). Рисунки М. Добужинскаго. Цѣна въ переплетѣ **50** коп.

Открытыя письма на социально-политическія темы въ исполненіи художниковъ „Simplicissimus'a“.

Сюжеты:

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Двѣ власти. | 14. „Власт. земли“. Негуеъ. | 28. Прощаніе. |
| 2. Религіозное рвеніе. | 15. Сказка. | 29. Послѣ выборовъ |
| 3. Великодушный хозяинъ. | 16. Кивокъ выше. | 30. Непонятные |
| 4. Въ цркѣ | 17. Соціальная политика. | 31. Реакція. |
| 5. На распуты. | 18. Общественная нрав- | 32. „Послушайте, хозяинъ“... |
| 6. Депутація | ственность. | 33. Искусное управленіе. |
| 7. Чернь—Толпа—Народъ | 19. Благородное воспитаніе. | 34. Подраздѣленіе. |
| 8. Рѣшеніе соціальнаго во- | 20. Весна. | 35. Время власти. |
| проса. | 21. Къ закону о стачкахъ | 36. Умѣренность. |
| 9. Кошмаръ капитализма. | 22. Въ большомъ городѣ. | 37. Въ ломбардѣ. |
| 10. Казнь. | 23. „Пожалуйста, миленькій | 38. Властелинъ. |
| 11. Поздней осенью. | чортъ“... | 39. Интернациональное сред- |
| 12. „Властители земли“. | 24. Философъ. | ство противъ „револю- |
| Вильгельмъ II. | 25. Человѣкъ со вкусомъ. | ціонеровъ“. |
| 13. „Властители земель“ | 26. Стачка. | 40. Сверхчеловѣкъ. |
| Рузвельтъ. | 27. Подштанники либерала. | 41. Наслѣдный принцъ. |

Цѣна красочныхъ—5 к. шт.

Цѣна однотонныхъ—3 к. шт.

ПОСТУПИЛИ НА СКЛАДЪ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

ССЫЛЬНЫМЪ и ЗАКЛЮЧЕННЫМЪ.

(СБОРНИКЪ).

(2-ое изданіе).

Содержаніе: Леонидъ Андреевъ. Елеазаръ. М. Арцы-
башевъ. Подпрапорщикъ Гололобовъ.—В. Вереса-
евъ. Издали.—Н. Гаринъ. Ревекка.—А. Купринъ.
Какъ я былъ актеромъ.—В. Муйжель. Кошмаръ Стихо-
творенія: С. Верхоянцевъ.—А. Лукьяновъ.—П. Я.
(Л. Мельшинъ).—В. Н. Фигнеръ.—А. Серафи-
мовичъ. На морѣ.—Танъ. Христосъ на землѣ.—
Н. Тимковскій. Акваріумъ.—Е. Чириковъ. Облава.—
С. Юшкевичъ. Новый пророкъ.

Цѣна книги 1 рубль.





2007097496